

Глава 8. Любовь и дело в системе фундаментальных смыслов и ценностей русского мировоззрения: «Анна Каренина» Л.Н. Толстого.

Анализ фундаментальных смыслов и ценностей русского мировоззрения в философско-художественном творчестве Льва Толстого, начатый в предыдущей книге и ориентированный на период 40 – 60-х годов XIX столетия и главное произведение этого периода – роман «Война и мир», будет продолжен на материале позднейших периодов творчества автора, одним из центров которого стал роман «Анна Каренина». И хотя дата окончания работы над этим романом – 1878 год – выходит за заявленные книгой временные рамки, логика рассмотрения тем любви (страсти) и дела (не просто как занятия, а как смысла бытия) логично встраиваются именно в избранную мной логику анализа содержания русского мировоззрения. Кроме того, образами Анны Карениной и Константина Левина Толстой вводит в русскую литературу то, что также вполне может быть названо типами «нового человека».

Сравнивая ведущие темы двух великих творений Льва Толстого - любви и дела, жизни и смерти (или, как это было в заданной «Войной и миром» интерпретации – мертвого и живого), отмечу следующее. В ряде ключевых пунктов роман «Анна Каренина» является не просто произведением, написанным вслед за «Войной и миром», но его развитием. Один из таких продолжающихся сюжетов - любовь женщины в высшей и аномальной, выходящей за пределы рационального форме ее проявления - страсти.

В «Войне и мире», к предмету этому – любви-страсти – Толстой только прикоснулся. И тому, очевидно, было несколько причин. Прежде всего, собственная эволюция автора еще не приблизила его к изучению этого феномена. (Напомню, что кроме «Анны Карениной» в позднейшие периоды теме страсти и связанной с ней похотью посвящены «Крейцера соната», «Дьявол», «Отец Сергей»). К исследованию этой темы Толстого, далее, не располагал возраст, характер и опытность главных героев «Войны и мира» – Наташи и Андрея. Для князя Андрея страсть была невозможна в силу

прожитого и перенесенного, того, что можно было бы назвать спокойствием опытности. Для Наташи – как в период ее отношений до несчастья - увлечения Анатодем Курагиным, так и после второй встречи с Андреем Болконским, - в силу ее молодости. Так же нельзя назвать страстью и увлечение Наташи Курагиным. Впрочем, для различения этих явлений следует дать их понимание.

Автор «Войны и мира» не приблизился к подробному изучению этого феномена, вероятно, и в силу своей собственной эволюции. Как отмечают исследователи жизни и творчества Толстого, одной из его личных проблем, изжитых, может быть, лишь к старости, всегда была проблема телесного зова, любовного влечения, овладеть, подчинить своей воле которые великий мыслитель и жизнелюб с переменным успехом стремился всю жизнь, но, похоже, так до конца и не смог¹. И в период написания «Войны и мира» эта внутренняя борьба, происходившая в писателе, склонялась в его сознании к единственно верному и разумному, как он тогда думал, исходу. Пережившая внутренние метания Наташа, превращалась Толстым в его тогдашний идеал женщины – матери многочисленного семейства, «плодовитой самки», не имеющей «собственных слов», но радующейся, когда зеленое пятно на пеленке младенца сменяется, наконец, желтым. Что же такое страсть?

¹ В том, что это «пограничное» состояние было судьбой человека по имени Лев Николаевич Толстой, оказалось одним из величайших достижений русской классической литературы. «Л. Толстой есть величайший изобразитель этого не телесного и не духовного, а именно телесно-духовного – «душевного человека», той стороны плоти, которая обращена к духу, и той стороны духа, которая обращена к плоти – таинственной области, где совершается борьба между Зверем и Богом в человеке: это ведь и есть борьба и трагедия всей его собственной жизни, он ведь и сам по преимуществу человек «душевный», ни язычник, ни христианин до конца, а вечно воскресающий, обращающийся и не могущий воскреснуть и обратиться в христианство, полуязычник, полухристианин». Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., Республика, 1995, с. 85. И еще: «Чем ближе Л. Толстой к телу или к тому, что соединяет тело с духом – к животностихийному, «душевному человеку», – тем вернее и глубже его психология или, точнее, его *психофизиология*. Но, по мере того, как, покидая эту, всегда под ним твердую и плодотворную, почву, переносит он свои исследования в область независимой, отвлеченной от тела духовности, сознательности – не страстей сердца, а *страстей ума* (ибо у человеческого ума есть так же, как у человеческого сердца, свои страсти, не менее сложные и глубокие: Достоевский – великий изобразитель этих именно *страстей ума*), – «психология» Л. Толстого становится сомнительной». Там же, с. 94.

Размышляя над природой этого феномена, в том числе, адресуясь и к образцам мировой литературы, Шекспиру, прежде всего, несомненным мне представляется следующее. От любви страсть отличается прежде всего тем, что при ее появлении в человеке не затрагиваются его фундаментальные, сущностные нравственные качества, то есть те, которые дают ему о себе знать в виде постоянных размышлений и, что самое важное, не ведут его к поискам ответов на вопросы о добродетели, истине и красоте. (Впрочем, если таковые размышления и имеют место, то, как это показано, к примеру, в «Дьяволе» или «Отце Сергии», логический их итог не отменяет силы чувства). Находясь под влиянием страсти, человек, как правило, обретает ложную уверенность в том, что в размышлении об этих предметах он не нуждается, что он уже априори обладает их истинным пониманием. И в этой связи человек, как ни странно, обретает способность и склонность действовать безоглядно, не рефлектируя и, в конце концов, иррационально. Вспомним, что описывая Наташу в период ее увлеченности (преддверия страсти) Курагиным, Толстой изображает героиню как будто заколдованную, окутанную злыми чарами. Чары, овладевшие Наташей начинают властвовать над ней с момента встречи с Курагиным в театре, что так же не случайно. Театр, по определению, мир сказочный. Под влиянием чар, потеряв способность не только к рефлексии, но и к здравому смыслу, Наташа теряет и волю. Ее увлечение обнаруживает себя как результат влияния чего-то внешнего, нападающего снаружи и овладевающей ее разумом, но не сердцем. (В этом, кстати, вновь дает о себе знать так же очень русский, характерный для национального мировоззрения, дихотомический смысл «разум – сердце», с которым мы уже сталкивались при анализе образов Обломова и Штольца).

Будучи лишена в это время способности к нравственной рефлексии, Наташа, как помним, заболевает. Но она и выздоравливает по мере того, как в ней пробуждаются истинные, разумные ценности, то есть когда она вновь обретает способность быть нравственным человеком. И происходит это,

опять же, как с внешней помощью, исходящей от разговоров (то есть – через разум) с Пьером, и еще сильнее – после встречи и бесед с раненым Андреем Болконским, так и по мере того как в ней просыпается способность подлинной любви. Таким образом, увлечение, приходя извне, с помощью внешнего же, но уже с противоположным, нравственным знаком, и проходит. Страсть, как мы это увидим на примере Анны, разумом, здоровыми разговорами и нравственными «инъекциями», как в случае Наташи (когда Пьер, например, сказал ей, что он не знает человека лучше нее и что он был бы счастлив быть ее мужем), не излечивается. Я еще продолжу в дальнейшем (в особенности, на примере творчества Достоевского и Островского) исследование этого феномена, но, похоже, заболевание от этого вируса почти всегда ведет к смертельному исходу.

В «Войне и мире» так же нет ничего, имеющего отношения к страсти и в иных любовных историях - любви Николая Ростова и княжны Марьи Болконской и, тем более, - брака Пьера Безухова и Элен Курагиной.

Страсть и исследование ее природы появляется у Толстого лишь в «Анне Карениной». При этом, центр страсти размещается внутри, в сердце героини романа, которое постоянно являет себя как овеществленное в отдельном человеке животное-природное вселенское начало. В отличие от Наташи, увлекаемой внешней злой силой, Анна пытается размышлять, но ничего не может поделать со своим сердцем, плененным (заболевшим) страстью².

² «Сколько незабываемых, лично-особенных чувств и ощущений Анны Карениной сохранилось в нашей памяти – но ни одной мысли, ни одного человечески-сознательного, личного, особенного, только ей принадлежащего слова, хотя бы о любви. А между тем, она не кажется глупою; напротив, мы угадываем, что она умственно сложнее и значительнее Долли, Кити, Вронского, – кто знает? – может быть, даже значительнее столь много – увы! – слишком, кажется, много говорящего Левина. Но ее положение в действии романа, ее совершенная поглощенность стихией страсти таковы, что они заслоняют ее от нас именно с этой стороны – со стороны ума, сознания, высшей бескорыстной и бесстрастной духовной жизни. Кто и что она, помимо любви? Мы только знаем, что она петербургская великосветская женщина. Но кроме сословия – из какого исторического быта, из какой культуры вышла она? Где корни существа ее, уходящие в русскую землю? А ведь оно достаточно глубоко и первозданно, чтобы корни эти были. Что она думает не только о своей, но и вообще о любви, не только о своей, но и вообще о семье, о детях, о людях, о долге, о природе, об искусстве, о жизни, о смерти, о Боге? Мы этого не знаем или почти не знаем. Зато мы знаем, как именно вьются и выбиваются у нее

Охватившая Анну страсть начинает бурно прогрессировать с того момента, когда для ее, расположенного в самом сердце, центра обнаруживается иной центр, находящийся в сердце Вронского. И когда этот иной центр откликается на страсть Анны, страсть Анны начинает бурно развиваться.

На протяжении романа нас не покидает ощущение, что Вронский для Анны – своеобразный облеченный в человеческую оболочку резонатор ее собственной, бурно прогрессирующей и не менее бурно проявляющейся сущности. Она, например, постоянно нуждается в физическом присутствии Вронского, озабочена тем, чтобы он исключительно жил во взаимодействии с ее страстью, чтобы у него не было никаких независимых от нее интересов и отношений. Вспомним, что даже в период их наиболее спокойной совместной жизни в деревне, любая отлучка Вронского по делам приводит к напряжению, подозрениям, конфликтам. Кажется, что Анна материально, как плод пуповиной, соединена с предметом своей страсти.

Вспомним также ощущения и реакцию Анны на падение Вронского на скачках: «...Она совершенно потерялась. Она стала биться, как пойманная птица: то хотела встать и идти куда-то, то обращалась к Бетси.

...Офицер принес известие, что ездок не убит, но лошадь сломала спину.

Услыхав это, Анна быстро села и закрыла лицо веером. Алексей Александрович видел, что она плакала и не могла удержать не только слез, но и рыданий, которые поднимали ее грудь»³. В цитируемом мной

на затылке и на висках курчавые волосы, как тонкие пальцы суживаются в конце, и какая у нее круглая, крепкая, словно точеная, шея – каждое выражение лица ее, каждое движение тела мы знаем. Тело отчасти со стихийно-животной стороны, душу ее – «ночную душу», по слову Тютчева – мы видим с поразительной ясностью. Но ведь, может быть, с меньшей ясностью видим мы тело и душу, даже «личность» Фру-Фру, ибо у лошади Вронского есть тоже своя «ночная душа», свое стихийно-животное *лицо*, и это лицо – одно из действующих лиц трагедии. Если правда, как кто-то утверждал, что Вронский кажется жеребцом во флигель-адъютантском мундире, то лошадь его кажется прелестной женщиной. И недаром выступает сначала едва уловимое, потом все более и более углубляющееся, полное таинственных предзнаменований, сходство «вечно-женственного» в прелети Фру-Фру и Анны Карениной». Там же, с. 100.

³ Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах. М., Художественная литература, 1981. Т. 8, с. 233 – 234.

знаменитом исследовании Д.С. Мережковский точно проводит параллель между двумя существами женского рода, с которыми тесно переплелась судьба Вронского: «Фру-Фру «по статьям была не безукоризненна». Но именно эти единственные, кажущиеся неправильными, «личные» особенности и пленяют в ней Вронского. При первом взгляде на Анну его поражает во всей ее наружности – «порода», «кровь». И у Фру-Фру «в высшей степени было качество, заставляющее забывать все недостатки»: это качество была «кровь», «порода», то есть аристократизм тела. У них обеих – и у лошади, и у женщины – одинаковое *определенное выражение* телесного облика, в котором соединяется сила и нежность, тонкость и крепость. У Анны маленькая рука «с тонкими в конце пальцами», «энергическая» и «нежная». Кости ног и у Фру-Фру «ниже колен казались не толще пальца, глядя спереди, но зато были необыкновенно широки, глядя сбоку». «Резко выступающие мышцы из-под сетки жил, растянутой в *тонкой*, подвижной и гладкой как атлас коже, казались *столь же крепкими как кость*... Во всей фигуре и в особенности в голове ее было *определенное, энергическое и вместе нежное выражение*». У них обеих – одинаковая стремительная легкость и верность, как бы окрыленность движений, и вместе с тем, слишком страстный, напряженный и грозный, грозовой, оргийный избыток жизни. «Сухая голова Фру-Фру с выпуклыми блестящими, веселыми глазами (у Анны тоже глаза „блестящие и веселые“) расширялась у храпа в выдающиеся ноздри, с налитой внутри кровью перепонкою». Она, так же как и Анна, «без слов» понимает господина своего. «Вронскому, по крайней мере, казалось, что она поняла все, что он теперь, глядя на нее, чувствовал». Между ними странная, не только телесная, стихийно-животная, но и как бы «душевная» связь. Она знает и любит любовь его, желает и боится этой любви: «Как только Вронский вошел к ней, она глубоко втянула в себя воздух и, скашивая свой выпуклый глаз так, что белок налился кровью, с противоположной стороны глядела на вошедших, потряхивая намордником и упруго переступая с ноги на ногу» (у Анны тоже «упругая поступь»).

«— О, милая! О! — говорил Вронский, подходя к лошади и уговаривая ее. Но чем ближе он подходил, тем более она волновалась. Только когда он подошел к ее голове, она вдруг затихла и мускулы ее затряслись под *тонкою* нежною шерстью. Вронский погладил ее *крепкую* шею, поправил на остром загривке перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы и придвинулся лицом к ее растянутому, *тонким*, как крыло летучей мыши, ноздрям. Она звучно втянула и выпустила воздух из напряженных ноздрей, вздрогнув, прижала острое ухо и вытянула *крепкую* — черную губу к Вронскому, как бы желая поймать его за рукав. Но, вспомнив о наморднике, она встряхнула им и опять начала переставлять одна за другою свои *точеные* ножки». Слова «точеный», «тонкий», «крепкий» одинаково повторяются в описании наружности Фру-Фру и Анны.

Вронский любит лошадь не как животное, а как почти разумное существо, как женщину, словно влюблен в нее.

«— Успокойся, милая, успокойся, — сказал он, погладив ее еще рукой... Волнение лошади сообщилось Вронскому: он чувствовал, что кровь прилиwała ему к сердцу и что ему так же, как и лошади, хочется двигаться, кусаться; было и страшно, и весело». От прелести Анны, в которой есть что-то «бесовское», «жестокое», — ему тоже «и страшно, и весело». После свидания с Фру-Фру отправляется он на свидание с Анною. И тот же хищный, грозовой, оргийный избыток животной жизни, который он только что чувствовал в себе и в звере, в прекрасной «Божьей твари», соединит его с другою, столь же прекрасною Божьей тварью — Анною.

Фру-Фру, как женщина, любит власть господина своего и, как Анна, будет покорна этой страшной и сладостной власти — даже до смерти, до последнего вздоха, до последнего взгляда. И над обеими совершится неизбежное злодеяние любви, вечная трагедия, детская игра смертоносного Эроса.

Во время скачек, когда Вронский уже обогнал всех, и, достигая цели, напрягая последние силы, Фру-Фру летит под ним, как птица — «О, прелесть

моя!» – думает он о ней с бесконечной лаской и нежностью. Она угадывает каждое движение, каждую мысль, каждое чувство всадника; у них – одна воля, одно тело, одна душа, между ними – «связь души с телом»; они – одно. И в восторге как бы сверхъестественной окрыленности, в сладострастном упоении полета, человек и животное сливаются. О, в это мгновение он, может быть, любит ФруФру больше, чем Анну, более чудесною и таинственною любовью.

Но вот – одно неловкое движение, «скверное, непростительное: не поспев за движением лошади, он опустился на седло, и вдруг положение его изменилось, и он понял, что случилось что-то ужасное... Вронский касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Он едва успел выпростать ногу, как она упала на один бок, тяжело хрипя и делая, чтобы подняться, тщетные усилия своей тонкою потною шеей, она затрепыхалась на земле у его ног, как подстреленная птица. Неловкое движение, сделанное Вронским, сломало ей спину. Но это он понял гораздо после... А теперь он, шатаясь, стоял на грязной неподвижной земле, и перед ним, тяжело дыша, лежала Фру-Фру и, перегнув к нему голову, смотрела на него своим прелестным глазом. Все еще не понимая того, что случилось, Вронский тянул лошадь за повод. Она опять забилась как рыбка, треща крыльями седла, выпростала передние ноги, но, не в силах поднять зада, тотчас же замоталась и опять упала на бок. С изуродованным страстью лицом, бледный и с трясущеюся нижнею челюстью, Вронский ударил ее каблуком в живот, и опять стал тянуть за поводья. Но она не двигалась, а, уткнув храп в землю, только смотрела на хозяина своим говорящим взглядом.

– Ааа! – промычал Вронский, схватившись за голову. – Ааа! – что я сделал! – прокричал он. – И проигранная скачка! И своя вина, постыдная, непростительная! И эта несчастная, милая, погубленная лошадь!.. Ааа! что я сделал.

...В первый раз в жизни он испытал самое тяжелое несчастье, несчастье неисправимое, и такое, в котором виною сам».

Да, он прочел и понял страшный укор в последнем, «говорящем», человеческом взгляде зверя, понял, что совершил, действительно, непоправимое злодеяние, принес в жертву своей тщеславной прихоти, в жестокой игре, живую, прекрасную Божью тварь, которую любил.

И как знать, не послала ли ему судьба предостережения в гибели Фру-Фру? Не погубит ли он точно так же и Анну в жестокой игре? И здесь, как там, – «одно неловкое движение, скверное, непростительное», но ведь невольное, нечаянное – и слишком напряженное существо ее сломится под непосильною тяжестью, упадет, «затрепыхается у ног его, как подстреленная птица».

Этот неумолимый закон слепого Бога-Младенца – играющего смертью и разрушением, Эроса, эта жестокость сладострастья, которая делает любовь похожей на ненависть, телесное обладание похожим на убийство, – сказывается и в самых страстных ласках любовников.

При взгляде на Анну Вронский «чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни... Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этою страшною ценою стыда. Стыд перед духовною наготою своей давил ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы перед *телом* убитого, надо резать на куски, прятать это *тело*, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством. И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это *тело*, и тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи»⁴.

Страсть непрестанно прогрессирует, делает Анну эгоцентричной и деспотичной. Она не может унять ее даже тогда, когда видит вред, очевидно наносимый ее отношениям с Вронским. И, в конце концов, в своем крайнем развитии страсть убивает.

Сравнение «Войны и мира» и «Анны Карениной» в отношении глубины проработки некоторых проблем оказывается в пользу более позднего

⁴ Мережковский Д.С. Цит. соч., сс. 100 – 102.

произведения и в другой теме. Это так занимавшая Толстого тема дела, творческой реализации человека в его хозяйственной деятельности. Если в «Войне и мире» это направление только обозначено в финале романа в связи с практическими занятиями Пьера после женитьбы на Наташе, то в «Анне Карениной» это почти столь же глубоко прописанная линия, как и тема страсти.

Константин Левин – не менее значимый герой романа, чем Анна Каренина. И не случайно, оба они, хотя и в разных отношениях, обладают собственным недюжинным масштабом. Как верно отмечали, например, известные исследователи творчества Льва Толстого А. Зверев и В. Туниманов, «...эти персонажи (Каренина и Левин. – С.Н.) существенно близки, пусть диаметрально разными оказываются итоги их жизненной одиссеи. ...Ведь главным сюжетным узлом этой одиссеи и в том, и в другом случае становятся кризис привычных ценностей и жажда жизни в согласии с требованиями естественного морального чувства, а не под властью общепринятой ложной нормы»⁵.

Оставим до поры тезис исследователей о «естественном моральном чувстве» в его отношении к страстям Анны. О них речь впереди. Пока лишь отмечу еще раз: роман «Анна Каренина» является органическим и более глубоким исследованием намеченных в «Войне и мире» фундаментальных для русского мировоззрения таких смыслов и ценностей как любовь, дело, жизнь и смерть. Более того, между ними Толстой намечает связи и взаимовлияния.

В дальнейшем, при анализе этих смыслов, мне представляется важным не столько следовать за развитием романного сюжета «Анны Карениной», сколько стараться найти скрытую в произведении авторскую логику философского анализа выделенных мировоззренческих феноменов. И вот как, например, замысловато раскрывается авторский замысел в связи с

⁵ Зверев А., Туниманов В. Лев Толстой. ЖЗЛ. М., Молодая гвардия, 2007, с. 294.

анализом темы страсти, в котором, на мой взгляд, очевидны несколько важных посылов.

Посыл первый - скандал в доме Облонских в связи с открывшимся фактом измены Стивы, который дает зачин рассмотрению темы страсти и супружеской неверности. Причина скандала – привычка женатого помещика Облонского жить, не отказывая себе в плотских удовольствиях «на стороне», снисходительно допускаемых для мужчин русской традицией вообще и светским обществом второй половины XIX столетия, в частности.

Посыл второй: Вронский не имеет представления не только о жизни со страстной женщиной, но и вообще о семейной жизни – его родители не вели таковой, а его собственная была жизнью холостяка-военного со всем присущим ей «набором» «забав» богатого, свободного и преуспевающего светского человека.

Посыл третий: ценности настоящего жизненного дела и связанных с ними ценностей идеальной семейной жизни, постоянно исповедуемые Львом Толстым и рассматривающиеся, в том числе, посредством его «второго Я» Константина Левина, отвергаются Кити Щербацкой, которой он предлагает руку и сердце. В своем первом опыте серьезного общения с женщиной Кити, как и Наташа, отдает предпочтение ценностям бездумного светского жизнепрживания, олицетворяемых в ее глазах Алексеем Вронским.

И, наконец, посыл четвертый, касающийся предыстории героини романа. В прошлом Анна – молодая, неискушенная в любви провинциальная девушка, следуя совету тетушки, дает согласие на брак по расчету с нелюбимым и пожилым, но важным, состоятельным и преуспевающим Алексеем Александровичем Карениным. То есть, ее первые шаги, так же, как у Кити и Наташи, совершаются по общепринятым стандартам, но, что важно отметить, вне поля любви и, тем более, страсти.

Этот последний посыл очень важен, поскольку, наряду с прочим, позволяет представить степень того общественного напряжения, которое возникает вокруг Анны после открытой связи с Вронским. Ведь изначально

она – плоть от плоти света, жившая и вышедшая замуж, согласно общепринятым представлениям. И вдруг, после любовной связи с Вронским, Анна неожиданно и демонстративно отвергает еще недавно принимаемые светские правила. Не удивительно, что это рассматривается обществом не только как открытое и вызывающее отступление от нормы, но вообще как измена и общее публичное оскорбление, тем более, что не так давно Анна, став женой Каренина, из безвестной провинциалки была в свет принята и заняла высокое место в его иерархии.

Именно в такой системе посылов, которая ни в одном своем проявлении не может стать основой для здорового и жизнеспособного любовного чувства – Толстой начинает исследование страсти. В заданной автором системе координат, для нас, читателей, изначально очевидно, что в этих дисгармоничных отношениях со смещенными в сторону от нормы осями, по определению не может родиться и существовать нормальное любовное чувство. И что Анна – не только сильная натура, возникшая в поле нашего зрения как бы сама по себе, но так же и неотъемлемая часть лживой и порочной в своей основе системы существующих общественных отношений, которым она, совершенно неожиданно для них, а, возможно, и для себя, вдруг решает бросить вызов. И что ее страсть – не только самостоятельный внутренний порыв, но и неизбежная реакция, а в некоторых отношениях и продукт борьбы против больного общества.

Говоря об исследовании страсти Толстым, следует признать, что явление это он рассматривает в заведомо невозможных для существования этого чувства условиях. И уже по этой причине страсть такого рода и в таких обстоятельствах сродни той страсти, которую Шекспир представляет и исследует в величайших трагедиях - «Ромео и Джульетта», «Отелло» или «Король Лир».

Очевидно, что чтобы выжить и успешно противостоять враждебным обстоятельствам, страсть должна быть аномально сильна и до болезненности изощрена. В нездоровой среде личные качества людей, пережитый ими

опыт не позволяют их чувству любви быть жизнеспособным, в меру (то есть, не переходя границы, за которой начинается саморазрушение) быть сильными и гармоничными. Более того: чтобы вообще быть, страсть должна выстоять в противостоянии и, значит, во-первых, одолеть враждебные силы, и, во-вторых, не разрушиться после неизбежной деформации в борьбе с тем, что ей противостоит.

Сказанное, как представляется, позволяет сформулировать первое предварительное наблюдение в отношении природы страсти в русском мировоззрении как любви в ее аномальном проявлении. Наблюдение это заключается в том, что явленная человеком любовная страсть - столь же имманентно присущее индивиду свойство, сколь и результат реакции индивида с сильными чувствами на ненормальные общественные отношения. Применительно к толстовской героине это означает, что страсть Анны неуклонно усиливается и доходит до самоуничтожения не только в силу ее конкретного наличия в сердце женщины по имени Анна Каренина, но и по внешним причинам. И к числу последних следует отнести те, что ее любовник не имеет достаточных представлений и не умеет жить семейной жизнью. Муж Анны – прежде всего преуспевающая на государственном поприще механическая машина, только один раз являющая человеческие чувства, а брат – эгоистичный, не способный к сопереживанию сибарит. Так же следует помнить и о том, что в принятых светским обществом понятиях скрываемая супружеская измена княжны Бетси – норма, а стремление Анны открыто отстаивать свое право на жизнь по любви – патология.

Развернутая в романе трагедия Анны представляется даже более существенной, чем ее пытался первоначально изобразить Лев Толстой, когда он, как пишут об этом Зверев и Туниманов, ставил перед собой задачу «сделать эту женщину только жалкой и не виноватой»⁶. Ведь если сравнить столкновение Анны с миром неживого, с тем, который изображался Толстым в «Войне и мире», а точнее – со столкновением с этим миром Наташи

⁶ Зверев А., Туниманов В. Цит. соч., с. 295.

Ростовой, то здесь различие огромно. Наташа – лишь жертва, слабое существо, попавшее в сети мертвечины, зараженное ее ядом, которое благодаря обстоятельствам счастливо спасается и постепенно, медленно выздоравливает. Мщения от этого мира Наташе нет, потому что она не только не воевала с ним, но даже и не пыталась противостоять. У внешнего мира нет цели уничтожить Наташу.

Иное – Анна. В глазах света и на самом деле она изменница, пользовавшаяся изначально возможностями и силой этого мира для собственного возвеличивания. Она – вознесенная на самый верх, признанная этим миром королева. Она – плоть от его плоти. Вспомним, что до решающего шага – признания Анны мужу в своей измене и последовавшей за тем открытой любви к Вронскому, Анна не выходила за пределы общепринятых в обществе измен. Не случайно ее подругой была скрытно, «в пределах приличий» изменяющая мужу княжна Бетси. И вдруг – Анна решается изменять открыто. Чему же изменяет Анна? Почему она хочет открытого и естественного проявления своего нового чувства любви-страсти? Какие отношения она тем самым разрушает, какие границы переходит?

Несомненно, не только поставлен в унижительное положение, но оскорблен и действительно страдает от незаслуженной обиды ее муж. Алексей Александрович никогда не обманывал Анну. Он никогда не стремился казаться лучшим, чем был на самом деле. Тому порукой его природная ограниченность. Он просто не додумался бы до этого. Он так же ни на йоту не отступал и не обманывал Анну в своей верности и следовании законам светской жизни. Это Анна изменила первоначально и негласно заключенному между ними договору. Поэтому ненависть Анны персонально к мужу хотя и несправедлива, но понятна. В муже Анна ненавидит собственное предательство, изначально заключенную сделку со «светом».

Вот ее размышления накануне признания мужу в своей измене: «Я дурная женщина, я погибшая женщина..., но я не люблю лгать, я не

переносу лжи, а *его* (мужа) пища – это ложь. Он все знает, все видит; что же он чувствует, если может так спокойно говорить? Убей он меня, убей он Вронского, я бы уважала его. Но нет, ему нужны только ложь и приличие», - говорила себе Анна, не думая о том, чего именно она хотела от мужа, каким бы она хотела его видеть. Она не понимала и того, что эта нынешняя особенная словоохотливость Алексея Александровича, так раздражавшая ее, была только выражением его внутренней тревоги и беспокойства. Как убившийся ребенок, прыгая, приводит в движение свои мускулы, чтобы заглушить боль, так для Алексея Александровича было необходимо умственное движение, чтобы заглушить те мысли о жене, которые в ее присутствии и в присутствии Вронского и при постоянном повторении его имени требовали к себе внимания. А как ребенку естественно прыгать, так ему было естественно хорошо и умно говорить»⁷.

Другое дело (и это обнаруживает одна из великих сцен романа - сцена прощения Карениным Вронского и своей жены в момент, когда она почти умирает от «послеродовой горячки»), это то, что Алексей Александрович вдруг оказывается способным возвыситься над условностями – ложными установлениями света и находит в себе силы превратить свое убеждение в поступок, к сожалению, временный. «Душевное расстройство Алексея Александровича все усиливалось и дошло теперь до такой степени, что он уже перестал бороться с ним; он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, было, напротив, блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье. Он не думал, что тот христианский закон, которому он всю жизнь свою хотел следовать, предписывал ему прощать и любить своих врагов; но радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу. Он стоял на коленях и, положив голову на сгиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок. Она обняла его плешивеющую голову, подвинулась к нему и с вызывающею гордостью подняла кверху глаза.

⁷ Толстой Л.Н. Там же, с. 230.

... - Помни одно, что мне нужно было одно прощение, и ничего, больше я ничего не хочу... Отчего ж *он* не придет? – говорила она, обращаясь в дверь к Вронскому. – Подойди, подойди! Дай ему руку.

Вронский подошел к краю кровати и, увидев ее, опять закрыл лицо руками.

- Открой лицо, смотри на него. Он святой, - сказала она. - Алексей Александрович, открой ему лицо! Я хочу его видеть.

Алексей Александрович взял руки Вронского и отвел их от лица, ужасного по выражению страдания и стыда, которые были на нем.

- Подай ему руку. Прости его.

Алексей Александрович подал ему руку, не удерживая слез, которые лились из его глаз.

- Слава богу, слава богу, - заговорила она, - теперь все готово»⁸.

В этой сцене Толстой открывает нам великую истину, касающуюся природы страсти. Страсть либо лечится милосердием и прощением, либо изживается посредством смерти. То же говорит и Шекспир: со смертью Ромео и Джульетты стихает война семейств Монтекки и Капулетти, со смертью Дездемоны умирает страсть Отлелло, со смертью Корделии гаснет страсть короля Лира. К сожалению, в этой цепи есть и еще одна закономерность: страсть умирает вместе с тем, в ком она жила. И, очевидно, иного способа избавления от нее не существует.

Вовлеченный в логику развития страсти, Каренин скоро отрекается от своего христианского поступка, равнозначного бунту против принятых в его обществе понятий и возвращается в лоно своих привычных ложных установлений. Личностная позиция Каренина – простить жену и даже ее любовника – конечно же, была бы высмеяна, а сам он, если бы вздумал отстаивать ее, в глазах света был бы уничтожен. На это мужественное решение у Алексея Александровича сил не достает. Да и само такое решение было бы сродни страсти, хотя и иного рода. Но Каренин – человек без

⁸ Там же, сс. 452 – 453.

страстей. И вскоре он быстро, с облегчением и даже с удовольствием переходит под влияние графини Лидии Ивановны и принимает одну из светских форм защитной реакции, целиком располагающейся в логике войны со страстью: ни в чем Анне на уступки не идти, развода не давать, сына от матери отстранить.

Назвав Каренина человеком без страстей я, тем самым, подал это как некое осуждение. Вместе с тем, смысл моих размышлений выводит на то, что страсть – чувство аномальное и потому пагубное. В этой связи требуется пояснение. Нельзя полагать, что страсть – это вообще то, что должно быть исключительно осуждаемо. Страсть – одна из высот человеческого если не духа, то чувства и уже в силу этого не может быть однозначным. Великие страсти, равно как и великие идеи, в конечном счете, движут миром. Однозначно в них, на мой взгляд, только одно – их пагубность, то есть гибельность для их носителя. А вот то, какие отношения или процессы оказываются вовлеченными в поле воздействия страстей, и заслуживает оценки и притяжения (либо осуждения и отторжения) со стороны других.

Готовясь приступить к анализу природы страсти, Толстой посредством других героев вводит нас в сходную со страстью пограничную область – область сильной любви. Делает он это двойко: позитивно, передавая переживания Левина, вознамерившегося сделать предложение Кити Щербацкой, и негативно, от противного – повествуя о характере, интересах и даже гастрономических пристрастиях Стивы Облонского, из чего мы легко можем заключить и о природе его так называемых любовных переживаний.

Левин, как помним, приехав в Москву, направляется на каток, где, как он знает, развлекается Кити. Принять решение – подойти к Кити, для него очень сложно. Наконец, «он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя. ...Все казались Левину избранными счастливыми, потому что они были тут, вблизи от нее. ...Ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал

себя умиленным и смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства»⁹.

Два полюса – один сугубо чувственный, низменный, и второй духовно возвышенный – обозначают в нашем дальнейшем восприятии границы того поля, которое называется любовная страсть. И еще до того, как на этом поле безраздельной хозяйкой сделается Анна Каренина, почувствовать его природу Толстой дает нам с помощью Кити. Как помним, она догадывалась о любви к ней Левина, но отдавала предпочтение Вронскому. Между тем, в ее ощущениях к тому и другому была существенная разница, и разница эта была не в пользу Алексея Кирилловича: «Воспоминания детства и воспоминания о дружбе Левина с ее умершим братом придавали особенную поэтическую прелесть ее отношениям с ним. Его любовь к ней, в которой она была уверена, была лестна и радостна ей. И ей легко было вспоминать о Левине. К воспоминаниям о Вронском, напротив, примешивалось что-то неловкое, хотя он был в высшей степени светский и спокойный человек; как будто фальшь какая-то была, - не в нем, он был очень прост и мил, - но в ней самой, тогда как с Левиным она чувствовала себя совершенно простою и ясною»¹⁰.

Что стоит за словом «фальшь»? Очевидно, и Толстой косвенно дает это понять, речь идет о присутствии в человеке чего-то внешнего, какого-то инородного тела, имплантированного в него и удерживаемого в нем помимо его воли. Это – из той сферы, которая признана «светом» высоким и ценным. Это то, что ценила во Вронском мать Кити – «Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военно-придворной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать»¹¹.

И вновь, как и в «Войне и мире», в судьбе Кити Щербацкой, как и Наташи Ростовской, возникает момент, когда неживое временно одерживает

⁹ Там же, сс. 37 - 38.

¹⁰ Там же, с. 57.

¹¹ Там же, с. 53.

верх над живым. Сразу после отказа Кити Левину перед нами возникает одна из теней того «света», в котором органично живет Вронский, - графиня Нордстон. Фигура эта, отдаленно напоминающая хозяйку модного салона Анну Павловну Шерер, одна из придворных дам, которая желала бы своей властью определить судьбу Кити – выдать ее замуж по своему идеалу. И так же, как Анна Павловна панически боялась несоответствия Пьера своему кружку, так и Нордстон находится в презрительно-конфронтационных отношениях с Левиным, столь же естественным и «живым» как и молодой Безухов.

И еще один образ завершает предварительное обозначение Толстым того, что я условно назвал «полем страсти». Это передаваемый через реакцию других образ раздавленного на станции сторожа. Говоря о происшедшем, Толстой употребляет слова «случилось необыкновенное». Глагол неопределенного действия «случилось» точно подходит и к описанию феномена страсти. И как же случилось? Оказывается, то ли сторож был сильно укутан от мороза, то ли он был пьян, но он не слышал звука подаваемого назад поезда и его раздавили. То есть, гибель произошла от того, что человек не заметил приближения чего-то внешнего, какой-то не осознаваемой опасности до тех пор, пока это внешнее напрямую физически его не уничтожило. И случилось это либо из-за его собственного состояния, либо по внешней причине. Какого-либо иного дополнительного смысла в изложенном автором факте нет. Так как же этот смысл коррелирует с излагаемой историей страсти Анны?

Очевидно, то же, что и в случае со сторожем, происходит при действии страсти. Анна несет в себе готовность к появлению страсти. (В другом примере – это возможность того, что сторож был пьян). Анна не слышит предостерегающих слов Алексея Александровича, не замечает упреждающих останавливающих реакций общества. (В другом примере – это возможность того, что сторож был сильно укутан). Накатывающееся внешнее – появление Вронского в поезде – так же неожиданно. (В другом примере – это

возможность того, что сторож не заметил приближения поезда). Итог: «дурное предзнаменование», - говорит Анна. Но, согласимся, слова эти могут быть отнесены как к гибели сторожа, так и к факту встречи с Вронским, хотя для этого, кажется, нет пока никаких причин, а есть только обозначенные только что аллюзии. Однако в итоге, центр страсти Анны оказывается готовым к тому, чтобы быть приведенным в действие – вступить во взаимодействие с центром страсти внутри Вронского.

Уже при первой встрече-свидании во время возвращения Анны в Петербург с едущим вслед за ней Вронским, Анна демонстрирует полную готовность отдаться рождающейся в ней страсти. Вспомним, как Толстой говорит о ее состоянии в этот момент: в ответ на восхищение Вронского, которое она читала в его взгляде, ее «охватило чувство радостной гордости. ...Неудержимая радость и оживление сияли на ее лице. ...Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком. ...Она поняла, что этот минутный разговор страшно сблизил их; и она была испугана и счастлива этим. ...В тех грезах, которые наполняли ее воображение, ...не было ничего неприятного и мрачного, напротив, было что-то радостное, жгучее и возбуждающее»¹².

В этой связи отметим и еще одно сопутствующее страсти чувство – гордость, чувство, близкое к гордыне – традиционно осуждаемому христианством греху.

Страсть охватывает и Вронского. Он переполнен счастьем и гордостью. «...Все счастье жизни, единственный смысл жизни он находил теперь в том, чтобы видеть и слышать ее. ...Что из этого всего выйдет, он не знал и даже не думал»¹³. Слова эти, как очевидно, подтверждают правильность моего предположения о том, что во Вронском страсть Анны находит отклик и взаимодействие этих «центров» страсти происходит без участия не только нравственных чувств, но и рациональной рефлексии. И еще одно. Страсти

¹² Там же, сс. 117 – 118.

¹³ Та же, с. 119.

принципиально не свойственно какое-либо «планирование» будущего. Возможно, потому, что почти единственным ее всегдашним итогом оказывается смерть.

Поддавшись чарам поселившейся в ней страсти, Анна как бы обретает новое зрение. Многое ей начинает видеться в ином свете. Даже ее любимый сын Сережа кажется ей хуже, чем она воображала его во время разлуки. То же относится и к вовсе далеким людям, как, например, к приехавшей в гости графине Лидии Ивановне. «Анна любила ее, но нынче она как будто в первый раз увидела ее со всеми ее недостатками. ...» Ведь это было прежде; но отчего я не замечала этого прежде? – сказала себе Анна¹⁴. Страсть изменила состояние Анны, сделала ее в каком-то смысле вовсе новым человеком. В этом, кстати, на мой взгляд, состоит и еще одна из увлекающих человека прелестей страсти: личность получает возможность «нового рождения» и «нового жизнепрживания». К прежней жизни «добавляется» новая, жизнь «удваивается», что создает ощущение ничем иным не доставляемого богатства. Однако по характеру своего протекания эта «новая жизнь» похожа на последнюю вспышку спичечной серы, перед тем как спичка погаснет вовсе и все погрузится во мрак.

Толстой точно описывает это явление. Отдавшись страсти, толстовская Анна делается другим человеком. А вот Вронский в состоянии страсти вовсе иное существо. В сравнении с Анной он менее тонок, развит, глубок и потому в его изображении Толстой краток и беспощаден. «В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одной женой, с которой он обвенчан, что девушке надо быть невинною, женщине стыдливою, мужчине мужественным, воздержанным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги, - и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был

¹⁴ Там же, с. 123.

другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться»¹⁵. И, тем не менее, оказывается, что страсть может овладевать и такими людьми. Страсть, стало быть, универсальна?

И далее – четкое обозначение отношений: подлинная страсть у Анны и, первоначально, подобие страсти (страсти, как бы санкционированной светом, родственной волокитству Стивы), у Вронского. Но в этом – страстей разной природы – еще один конфликт. Анна обнаруживает, что «преследование» Вронского не только не вызывает в ней недовольства, «не только не неприятно ей, но что оно составляет весь интерес ее жизни». В то же время Вронский (и это Толстой снова демонстрирует, как и «Войне и мире» на фоне театра, то есть того места, где безраздельно по обе стороны рампы властвует притворство), предпринимает усилия достичь своей цели и, что очень важно для него, «не рисковать быть смешным». Напротив, «он знал очень хорошо, что в глазах этих лиц роль несчастного любовника девушки и вообще свободной женщины может быть смешна: но роль человека, приставшего к замужней женщине и во что бы то ни стало положившего свою жизнь на то, чтобы вовлечь ее в прелюбодеяние, что роль эта имеет что-то красивое, величественное и никогда не может быть смешна, и потому он с гордою и веселою, игравшею под его усами улыбкой, опустил бинокль и посмотрел на кузину (княжну Бетси. – С.Н.)»¹⁶. Впрочем, вскоре Вронский претерпевает глубокую эволюцию. И случается она, видимо, от того, что в столкновении страстей двух родов, страсть Анны, оказавшись сильнее, подчиняет и в какой-то мере преобразует по стандартам своей природы, страсть Вронского.

Впрочем, нельзя с точностью утверждать, оказался ли Вронский сам по себе способен выйти за пределы пошлого волокитства или тому была причиной сила страсти Анны, так преобразовавшей Вронского, но все равно

¹⁵ Там же, с. 129.

¹⁶ Там же, с. 145.

скоро его отношение к связи с Анной переменилось. Толстой дает об этом знать читателям сначала посредством восприятия матери Вронского. Первоначально она была довольна историей любовного похождения сына, которая, на ее взгляд, «давала последнюю отделку блестящему молодому человеку». Но когда Вронский, чтобы быть рядом с Анной отказался от предложения воинского начальства принять должность в другом месте и этим вызвал недовольство, которое неминуемо должно было сказаться на его карьере, мать свое мнение переменяла. В любви Вронского она распознала «какую-то вертеровскую, отчаянную страсть, ...которая могла вовлечь его в глупости». Так же об этом судил и старший брат Алексея Кирилловича, который «знал, что это любовь, не нравящаяся тем, кому нужно нравиться, и потому он не одобрял поведения брата»¹⁷.

Вронский отмечает негативное отношение к нему и Анне со стороны близких. Более того, он, как дает знать Толстой, укрепляется в своем противостоянии этому отношению. «Все, его мать, его брат, все находили нужным вмешиваться в его сердечные дела. Это вмешательство возбуждало в нем злобу – чувство, которое он редко испытывал. «Какое им дело? Почему всякий считает своим долгом заботиться обо мне? И отчего они пристают ко мне? Оттого, что они видят, что это, что-то такое, что они не могут понять. Если б это была обыкновенная пошлая светская связь, они бы оставили меня в покое. Они чувствуют, что это что-то другое, что это не игрушка, эта женщина дороже для меня жизни. И это-то непонятно и потому досадно им. Какая ни есть и ни будет наша судьба, мы ее сделали, и мы на нее не жалуемся, - говорил он, в слове *мы* соединяя себя с Анной. – Нет, им надо научить нас, как жить. Они и понятия не имеют о том, что такое счастье, они не знают, что без этой любви для нас ни счастья, ни несчастья – нет жизни», - думал он»¹⁸.

¹⁷ Там же, с. 194.

¹⁸ Там же, с. 204.

Толстой не изображает процесс произошедшей с Вронским перемены. Но то, что она состоялась, несомненно. И вот каким предстает перед нами в своих размышлениях уже переменившийся Вронский. Наиболее внятно осознаваемо им самим одно - чувство любви к Анне, ради которого он готов идти на любые жертвы. Но есть и противоположные, хотя и менее осознаваемые им, внешние препятствия, которые существуют для него в виде чувствования того, «что они, эти все, были правы». Права его мать, прав брат, начальство, прав весь высший свет. А им, если они продолжают жить в свете, ему и Анне, не остается ничего иного, как только лгать, скрывать свою любовь, обманывать.

Вронский не расшифровывает, не раскрывает самому себе, что то явление, которое он называет «правотой всех», есть заведенный порядок отношений, построенный на несравненно более глубоких и прочных основаниях, чем принятые в свете «правила любви и измен». Отчасти этот порядок проявляет себя в заведенных в обществе отношениях и понятиях относительно любви. Так, в то время право развестись должно быть предоставлено церковным иерархом. А есть и право царя, равно как и есть почитаемая обществом незыблемой общественной традиция. Не осознает Вронский и того, что их с Анной желание пойти против существующего порядка в одном отношении, с неизбежностью ставит под сомнение их общественную правоспособность в иных отношениях. Что, например, Вронскому по этой причине не будут способствовать в карьерном росте, а, скорее, напротив, станут чинить преграды.

Вронский не сознает, что зреющее в обществе недовольство, кроме характерного для всякого общественного организма свойства отрицательно реагировать на нарушения установленного порядка вещей, подпитывается и в известной мере справедливым негодованием по поводу пренебрежения им, обществом. Ведь и Вронский, а еще более Анна с ее историей замужества и перехода из провинциальной глуши в высший свет, были и по праву рассматриваются обществом как его, общества, не только равноправные

члены, но и люди, в чем-то у общества одолжившиеся или что-то от общества по иной причине получившие. И в качестве таковых они имели от общества известные выгоды и помощь, за которые следует быть благодарными и послушными, то есть жить по законам общества, а не нарушать их. Тем более, делать это так демонстративно, в то время как есть вполне испытанные, санкционированные светом и вполне безопасные и удобные для всех отношения адюльтера.

Впрочем, невозможность полного осознания всего, что пришло в движение вследствие поступка Анны и Вронского, не мешает Вронскому интуитивно нащупать верный по отношению к страсти Анны выход. «...Ему в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что необходимо прекратить эту ложь, и чем скорее, тем лучше. «Бросить все ей и мне и скрыться куда-нибудь одним с своею любовью», - сказал он себе»¹⁹.

В самом деле, позиция отшельничества, сознательного удаления от мира, например, жизни помещиком в провинциальной глуши – реальный выход, во всяком случае – возможная альтернатива зреющему общественному остракизму. В том, как общество воспринимает и оценивает связь Вронского и Анны, несомненно, проявляется тот дворянский «сословный инстинкт», понимание того, «что должно или не должно», понимание совершенно определенного способа того «как огонь блюсти», - как говорит Толстой в ином месте. И недооценивать это можно лишь пребывая в состоянии сильной страсти, что, собственно, и характеризует состояние Анны, но не Вронского.

Впрочем, и строгого отшельничества как такового, как видим из дальнейшего изложения, не требуется. Ведь после переезда в деревню, где Вронский не только окунулся в стихию хозяйствования, но и общественной губернской жизни, он почувствовал себя вполне удовлетворенным. Вспомним, как проходило его включение в дворянское деревенское сообщество. Избрав для себя строгое исполнение обязанностей дворянина и землевладельца, Вронский никак не ожидал, чтоб это новое дело «так

¹⁹ Там же.

забрало его за живое и чтоб он мог так хорошо делать это дело. Он был совершенно новый человек в кругу дворян, но, очевидно, имел успех и не ошибался, думая, что приобрел уже влияние между дворянами. Влиянию его содействовало: его богатство и знатность; прекрасное помещение в городе, которое уступил ему старый знакомый, Ширков, занимавшийся финансовыми делами и учредивший процветающий банк в Кашине; отличный повар Вронского, привезенный из деревни; дружба с губернатором, который был товарищем, и еще покровительствуемым товарищем Вронского; а более всего – простые, ровные ко всем отношения, очень скоро заставившие большинство дворян изменить суждение о его мнимой гордости»²⁰. Но почему же тогда эта вполне жизнеспособная форма мирного разрешения зреющего конфликта с обществом не была закреплена?

Вронский, и это мы увидим снова и снова, не мог в полной мере отрешиться от своей привычной жизни в «свете». В деревне «ему было скучно». И, что не менее важно для понимания логики непрерывно назревающей в романе трагедии, ему «нужно было заявить свои права на свободу перед Анной». Собственная страсть Вронского представляет собой страсть меньшего накала или, что так же возможно, в какой-то мере вторична – существует лишь «в ответ», в связи со страстью Анны. У Анны же страсть активная, непрерывно разрастающаяся, находящая все новую подпитку и, вместе с тем, приближающаяся к неминуемому концу, то есть, она не признает никаких спасительных паллиативов.

Чего же хочет и ставит условием жизни Анна? Развода с Алексеем Александровичем, его согласия на отказ от Сережи и на жизнь Сережи с матерью и, наконец, безраздельного обладания Вронским. Столкновение двух страстей открывают еще одну грань природы страсти: она не терпит свободы вблизи себя и потому, борясь против желаемой свободы стоящей рядом с ней живой сущности, она вскоре получает вместо живого – труп.

²⁰ Там же, с. 251.

Но если первые две вещи (привычка и желание свободы) понятны и при известных условиях могут быть осуществлены, то что значит последнее («страсть в ответ», страсть, подчиненная другой страсти)? Как должен жить Вронский, чтобы Анна считала свою власть над ним удовлетворяющей ее и приемлемой для Вронского?

Если попытаться смотреть на поведение Вронского глазами не страсти, а беспристрастно (как, кстати, само слово передает суть положения: «бес-пристрастно», то есть помимо присутствия страсти. – С.Н.), то мы вряд ли найдем в нем повод для слов упрека. Вронский старается быть нормальным человеком, который любит Анну. Это Анна увлечена потоком и не в силах управлять собой. То, что это так, Толстой косвенно дает понять разными способами, в том числе и очень странным для способной к любви женщины, каковой является Анна, способом – ее равнодушием, если не сказать безразличием, нелюбовью к дочери. Дочь – возможность будущей жизни, в том числе – и с любимым человеком, ее отцом, Вронским, - как бы не существует для Анны. Она вся во власти сжигающего ее чувства, которое столь сильно, что, кажется, остановило ее дальнейшее развитие, закрыло для нее будущее, заставляет вновь и вновь как бы по кругу проходить и заново переживать однажды возникшую страсть. В этом, как представляется, обнаруживается еще одна черта страсти – возможность ее развития лишь на основе и за счет тех чувств, сознания и опыта, которые были характерны для человека в момент, когда страсть им овладевает. Покоренный страстью человек не способен к развитию, он попадает в неразрывный волевым усилием круг постоянного переживания того опыта и полноты сознания, которые были застигнуты в нем в момент его покорения страстью. Он как бы консервируется в этом своем состоянии и для него из этого состояния есть только один выход – в смерть.

Лишение способности к дальнейшему развитию – само по себе одна из форм смерти и потому все, кого настигает страсть, становятся персонажами трагедии, а их физическая смерть – лишь материализация состоявшейся

ранее смерти сознания и чувств, ума и сердца, если прибегнуть к терминам русской литературно-философской традиции. Вспомним, к примеру, последние годы жизни Ильи Ильича Обломова в супружестве с вдовой Пшеницыной: он как будто закостеневаает, что особенно остро видно во время посещения его Штольцем. То есть, в случае Обломова, страсть убивает Илью Ильича (или, что то же самое, Илья Ильич убивает в себе любовь-страсть к Ольге) мгновенно, но при этом процедура ритуала погребения откладывается и какое-то время труп продолжает лежать на видном всем месте.

Возможность по мере чтения и истолкования литературного произведения «домысливания», проработки глубинных смысловых ходов и направлений, которые логически просматриваются читателем или допускаются автором, хотя и не всегда им реализованы и потому не могут быть показаны в тексте как результат работы именно его ума и души, - это, собственно, одна из отличительных черт подлинно крупного литературно-философского произведения. «Анна Каренина» Толстого в полной мере этим критериям отвечает. В подтверждение правильности наблюдения о «большей смысловой широте текста, чем его словесная выраженность», приведу размышления Иосифа Бродского: «Пишущий стихотворение пишет его прежде потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его настоящее. ...Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихотворение – колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения»²¹.

Думаю, что эта мысль поэта в полной мере относится и к литературно-философскому тексту Толстого. Предположение это мне кажется верным,

²¹ Сочинения Иосифа Бродского. Санкт-Петербург, МСМСХVIII, 1997. Т 1, с. 16.

поскольку, как известно, первоначально автор «Войны и мира» задумывал написать роман о «мысли семейной» и при этом придать ему несколько ироничное толкование. Об этом говорит тот отмечаемый литературоведами факт, что первоначальное название романа было «Молодец баба» и повествовать он должен был о «барских амурах». Однако по мере погружения в проблему любви и страсти Толстой, возможно, следуя за логикой проблематики или даже тем путем, о котором говорит Бродский, создал нечто совершенно иное. У него, как точно называю результат А. Зверев и В. Туманинов, получилась «поэма страсти». И в качестве таковой она «действительно превосходит все, что было создано до Толстого русскими авторами»²².

О существовании принципа непреднамеренности письма, собственной воли слов Бродский заявлял неоднократно. «Рано или поздно – скорее раньше, чем позже – пишущий обнаруживает, что его перо достигает гораздо больших результатов, нежели душа. Это открытие часто влечет за собой мучительную раздвоенность, и именно на нем лежит ответственность за демоническую репутацию, которой литература пользуется в некоторых широко расходящихся кругах»²³.

Впрочем, что касается прямого отношения Анны к Вронскому, то ярко поданная в романе страстность Анны, посредством которой она пытается довлеть над волей Вронского, вполне Толстым осознается. Вот, к примеру, описание так приятно прошедшего для Вронского посещения выборов губернского предводителя и его финал, отражающий одно из проявлений деспотического желания Анны видеть его рядом с собой как можно скорее. Как помним, выборы несколько затянулись и на заключительном вечере, который состоялся на следующий день после того, как Вронский обещал вернуться, он получает тревожно-требовательное письмо от Анны. В нем – косвенные укоры за то, что он оставил ее одну с ребенком, который

²² Зверев А., Туманинов В. Цит. Соч., с. 304.

²³ Сочинения Иосифа Бродского, т. 5, с. 118.

«серьезно» заболел и наедине с которым Анна совершенно беспомощна. Его задержкой на день она встревожена до того, что даже хочет ехать к нему сама. «Это невинное веселье выборов и та мрачная, тяжелая любовь, к которой он должен был вернуться, поразили Вронского своею противоположностью»²⁴. К этому следует добавить и очевидно различную «степень накала» любовных чувств, которыми обладают Анна и Вронский. Поведение Анны Толстой характеризует словами она «сжигает за собой мосты». В то время как Вронский чаще думает о том, как сгладить негативные оценки, вызываемые их поведением в мнениях «света». Впрочем, в поведении Вронского довлеет не забота о мнении общества. Анна верно угадывает его главное подспудное чувство, отчасти характеризующее, кстати, любые любовные отношения: оставаясь с любимой мужчиной, тем не менее, не может не быть озабочен и вопросом о степени своей личной свободы. Возможно, у Вронского это желание было несколько выше нормы, допустимой для гармоничных отношений.

Инстинктивное желание Вронского, любя Анну, продолжать оставаться свободным, с одной стороны, не может быть им преодолено, поскольку Алексей Кириллович не желает этого, а, с другой, не может вызвать согласия Анны. С маниакальной настойчивостью, даже четко предвидя новую, становящуюся тяжелее раз от разу размолвку, Анна, тем не менее, не только создает ситуации, в которых Вронский оказывается вынужден подчиняться ее эгоистической страсти или идти на обострение отношений, но и ищет своим поступкам разумных оправданий. Рассуждая о свободе Вронского и собственной несвободе, она нравственно и справедливо отказывается принимать во внимание мнение «света» о допустимости адюльтера для мужчины, что дает ему известную степень свободы. Вместе с тем, она настаивает на том, что Вронский так же должен отказаться от возможности свободы для себя, коль скоро такая свобода невозможна для нее. Впрочем, за этими словами о свободе, возможно, стоит иное: Вронский из любви к ней

²⁴ Толстой Л.Н. Там же, с. 254.

должен добровольно опуститься (или, кто знает: может быть возвыситься) до той степени страданий, которые создает «свет» для Анны и которые она своим, порой вызывающим поведением, создает для себя сама.

Справедливы ли такие ожидания или требования, Толстой не обсуждает. Он только отмечает сам факт их наличия, дает понять об их потенциальной неприемлемости для Вронского, равно как и невозможность изменения поведения Анны. «Теперь Анна уж признавалась себе, что он тяготится ею, что он с сожалением бросит свою свободу, чтобы вернуться к ней, и, несмотря на то, она была рада, что он приедет. Пускай он тяготится, но будет тут с нею, чтоб она видела его, знала его каждое движение»²⁵.

И здесь, хотя и несколько в ином контексте, Толстой роняет страшное и точное для влияния на поведение Анны слово: морфин. Столкновение его у Толстого может быть двояким: как средство заглушить страдание, а впоследствии, возможно, способствовать появлению страданий новых; но и в продолжение логики изложения - как определение для характеристики состояния страсти героини.

Это второе толкование возникает, например, из изложения разговора Анны с возвратившимся с выборов Вронским. Вспомним. Вронский не оставляет надежду быть свободным. Но и Анна не может отказаться от своей цели. В ответ - «...холодный, злой взгляд человека преследуемого и ожесточенного блеснул в его глазах...

Она видела этот взгляд и верно угадала его значение.

«Если так, то это несчастье!» - говорил этот его взгляд»²⁶.

Для понимания степени ненормальности Анны (то есть – ее отклонения от «нормы», «нормальности» и ее подвластности страсти) Толстой уже на следующих страницах сводит свою героиню с Левиным, фактически с самим собой. И встреча эта знаменательна и важна для понимания смыслов романа прежде всего по следующим из этого эпизода выводам.

²⁵ Там же, с. 255.

²⁶ Там же, с. 257.

Вот как сюжетно разворачивает эту линию автор. Вместе со Стивой Левин посещает Анну – знакомится с ней. И его сразу же поражает то количество достоинств, которые он видит в этой вызывающей чувство жалости женщине. «Кроме ума, грации, красоты, в ней была правдивость. Она от него не хотела скрывать всей тяжести своего положения.

...Левин все время любовался ею – и красотой ее, и умом, образованностью, и вместе простотой и задушевностью. Он слушал, говорил и все время думал о ней, о ее внутренней жизни, стараясь угадать ее чувства. И, прежде так строго осуждавший ее, он теперь, по какому-то страшному ходу мыслей, оправдывал ее и вместе жалел и боялся, что Вронский не вполне понимает ее».

На вопрос Стивы, какой ему показалась Анна, Левин отвечает: «...Необыкновенная женщина! Не то что умна, но сердечная удивительно. Ужасно жалко ее!»²⁷. Точно обозначен центр страсти – сердце. Но поскольку Левин – не выступает объектом страсти и вообще не имеет к этому явлению отношения, то он и не может постигнуть всей пагубности этого чувства. Он видит лишь красоту страсти, наблюдая ее со стороны. Это как если бы Левин имел возможность наблюдать с большого расстояния извержение вулкана. Оно, без сомнения, казалось бы ему захватывающей и, в том числе, красивой картиной. Иное дело – «наблюдения» людей, на которых движется лава или из под ног которых уходит почва.

Вот почему, по словам Толстого, Левин замечает, чувствует, что в «нежной жалости», которую он испытывал к Анне, было «что-то *не то*». И это «не то» - в качестве одного из объяснений феномена под названием «Анна Каренина» для Толстого, строящего свой собственный тип русского мировоззрения, означает тлетворное влияние города, жизнь человека вне природы и потому ради одних лишь плотских потребностей и удовольствий. Для этого-то Толстой и сталкивает Анну с Левиным (собой), создавая возможность в этом анализе извергающегося вулкана сказать и свое слово.

²⁷ Там же, сс. 290 – 291.

«Естественный» и «нормальный» человек Левин, живя в городе, говоря словами Толстого, «шалеет». Он понимает, что тем, чем он занят здесь, в Москве, он никогда не стал бы заниматься в деревне, поскольку это одни разговоры, еда и питье. Он понимает, что живет в Москве «бесцельною, бестолковою жизнью, притом жизнью сверх средств». А ненормальная жизнь рождает ненормальные отношения людей. И это – одна из сторон объяснения, в том числе и феномена Анны, исследование которого Толстой не оставляет ни на минуту.

Ненормальная и неестественная жизнь в городе, ее подчиненность правилам и законам «света» в разной мере затрагивает всех героев романа. Городская жизнь нравственно калечит добряка Стиву Облонского, чуть не стоит жизни Кити Щербацкой. Жизнь в городе убивает брата Левина, которому, как он полагал, природой было назначено нечто более высокое, нежели то, что он в своей жизни делал. В конце концов, Левин приходит к неутешительному выводу: так проживать жизнь, как его брат, нельзя. Как и Анна, брат Левина в своей логике жизни дошел до предела, сжег за собой мосты, но, к несчастью, потерпел поражение в сражении на том берегу. За всем этим для Толстого стоит город. Город же, наконец, мешает и Алексею Александровичу христиански простить Анну и, прежде всего, дать ей возможность обрести горячо любимого сына.

Как следствие ненормальной и неестественной жизни в городе и в Анне не просыпается (умерло, не родившись) материнское чувство к их общей с Вронским дочери. И, возможно, одной из причин этой аномалии Толстой полагал то, что Анна, как было заведено прежде всего у городских дам, сама не кормит ребенка, а поручает это специально подобранной для этого кормилице. (Сам граф Толстой, как известно, настаивал и добивался того, чтобы его жена сама кормила всех их тринадцать детей, несмотря на тяжкие боли, которые Софья Андреевна испытывала каждый раз в процессе кормления грудью).

Ненормальная и неестественная городская жизнь, согласно Толстому, не позволяет Анне отказаться от сложившихся у нее с Вронским «отношений борьбы» за его, Вронского, свободу и против ее, Анны, фактически крепостного общественного состояния. Очевидно, Толстой вновь имеет ввиду влияние городских условий светской жизни, когда пишет: «...Какая-то странная сила зла не позволяла ей отдаться своему влечению, как будто условия борьбы не позволяли ей покориться».

...Она чувствовала, что рядом с любовью, которая связывала их, установился между ними злой дух какой-то борьбы, которого она не могла изгнать ни из его, ни, еще менее, из своего сердца»²⁸.

Но город не только уродует не умеющие приспособиться к нему недюжинные натуры. Он создает и свои, вполне благополучные, дюжинные. Таков, к примеру, сводный брат Константина и Николая Левиных – Сергей Иванович Кознышев. Его уравновешенность, гармония и спокойствие – результат отказа от поисков любимых толстовских героев высшего смысла своего существования. Цenia в брате стремление служить общему благу, Константин все же не может до конца поверить в искренность его намерений. (У Толстого это вновь выражается популярной в русском мировоззрении дихотомией: идет ли стремление к высшим целям от рассудка или от сердца). «А рассудок говорит, - подхватывают эту мысль А. Зверев и В. Туманинов, - что заниматься такой деятельностью хорошо и достойно, тем более, что ею заслоняется необходимость ответить для себя на самые главные вопросы – о долге личности перед своей бессмертной душой»²⁹.

Как бы желая укрепить свои представления о «нормальности» и «ненормальности» (в терминологии «Войны и мира» - естественном - живом и неживом - искусственном), Толстой сразу после тягостных страниц о «злом духе» и «силе зла», постепенно овладевавшими Анной, дает изображение вершины семейной жизни Левиных – рождении ребенка. Событие это мы

²⁸ Там же, сс. 295 – 296.

²⁹ Зверев А., Туманинов В. Цит. соч., с. 318.

воспринимаем через видение Левина – самого Толстого. И подается оно как поистине эпическое явление и переживание.

Вначале, как бы для того, чтобы отстраниться от предыдущего, связанного с назревающей трагедией Анны, автор итотит левинские размышления о ней. Приходят они «после пьянства, ...нескладных дружеских отношений с человеком, в которого когда-то была влюблена жена, и еще более нескладной поездки к женщине, которую нельзя было иначе назвать, как потерянную, и после увлечения своего этою женщиной и огорчения жены» и сменяются ожидаемо, но все-таки неожиданно начавшимися родами Кити.

Событие это, как это всегда бывает у Толстого, подается не только само по себе, но и через сопоставление с чем-то равнозначным по содержательному наполнению. Причем, это равнозначное может быть как с положительным (и тогда сравнивается его сила), так и противоположным знаком (и в этом случае речь чаще всего идет о чем-то третьем, стоящем над сравниваемыми явлениями). В данном случае, рождение Левин в своих воспоминаниях сопоставляет с недавней смертью брата Николая. «Но то было горе, - это была радость. Но и то горе, и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни как бы отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо при созерцании этого высшего поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде и куда рассудок уже не поспевал за нею»³⁰. И неверующий прежде Левин начинает твердить неожиданно пришедшие ему слова: «Господи, помилуй! Прости, помоги!».

Масштабность события, как и в многочисленных случаях, описанных Толстым, например, в сценах боя и смерти на бастионах защитников Севастополя, рождает в подлинно «положительных» толстовских героях одинаковые чувства. У Левина это выражается словами: надо действовать

³⁰Толстой Л.Н. Там же, с. 304.

спокойно, обдуманно и решительно, не торопиться и ничего не упускать. А когда делать уже больше ничего нельзя, то терпеть. При этом, терпение дается столь тяжело, что каждую минуту ему кажется, что он дошел до его последних пределов и что сердце вот-вот разорвется от страдания. Но сердце выдерживало и приходили минуты нового страдания, и чувства страдания и ужаса напрягались еще более.

Опять же, в том числе и в противоположность сцене родов и близкой опасности смерти Анны, в эпизоде рождения сына Левина Толстой дает изображение одной из вершин человеческого счастья. «И вдруг из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти двадцать два часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний, обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались. Рыдания и слезы радости, которые он никак не предвидел, с такой силой поднялись в нем, колебля все его тело, что долго мешали ему говорить.

Упав на колени перед постелью, он держал перед губами руку жены и целовал ее, и рука эта слабым движением пальцев отвечала на его поцелуи. А между тем там, в ногах постели, в ловких руках Лизаветы Петровны, как огонек над светильником, колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было и которое так же, с тем же правом, с тою же значительностью для себя, будет жить и плодить себе подобных»³¹.

С этого поворотного для течения романа момента Толстой начинает приближать неизбежную развязку истории страсти Анны. Вначале происходит разговор Стивы с Карениным, в котором Алексей Александрович, коренным образом переродившийся в сравнении с минутной «слабостью» - сострадательным милосердием - у постели умирающей Анны, решительно, хотя и казуистически отказывается дать Анне развод, не смотря на отчаянные доводы Степана Аркадьевича:

«...Может быть, я обещал то, что не имел права обещать. ...

³¹ Там же, с. 307.

- Я никогда не отказывал в исполнении возможного, но я желаю иметь время обдумать, насколько обещанное возможно»³². Формой «обдумывания» Алексей Александрович, в это время под руководством графини Лидии Ивановны, с головой окунувшись в мистические опыты в исполнении заезжего шарлатана, избирает вопрошание погруженного в сон «медиума» - француза: давать развод или не давать. И решение «отказать», принятое, как это происходит в романе, в крайне издевательски-гротескной форме, только подчеркивает всю невозможность дальнейшей жизни Анны в этой среде, в этом городе, на этом свете.

Развязка романа с неотвратимостью приближается. Случается разговор Стивы с племянником Сережей – повзрослевшим сыном Анны, в котором Сережа вполне осознанно артикулирует и, тем самым, материализует разрыв своей связи с матерью. Воспоминания о матери по прошествии года больше не занимают его.

Со своей стороны, свои отношения с миром – вынужденно сконцентрированные на Вронском – начинает трагически сужать и Анна. Подчиняясь логике развития страсти, она теперь ревнует Алексея Кирилловича не к женщинам или какой-то воображаемой женщине. Страсть, все больше начинающая принимать форму психоза, приводит к тому, что Анна начинает ревновать Вронского «к уменьшению его любви» к ней. Не имея явного предмета для ревности, она отыскивает его в воображении, выдумывает его. Постепенно она начинает обвинять Вронского во всем, что было в ее собственном положении тяжелого: это и мучительное состояние ожидания развода, и неопределенность жизни в Москве, и вынужденное затворничество. И в итоге Анна оказывается наедине с давно зревшим и теперь осознанным чувством – решением, которое наконец-то «все разрешает»: умереть. «Все спасается смертью», - постепенно формулируется в ней приговор самой себе.

³² Там же, с. 316.

И, как перед всякой физической кончиной, которую не раз описывал Толстой, у находящегося на грани жизни-смерти (смертельно раненого, больного или неотвратимо изживающего себя человека, как это происходит в случае Анны), вдруг наступает временное облегчение, так часто принимаемое страдальцем за надежду: «кризис миновал» и дальше будет выздоровление. Это, однако, лишь иллюзия. Похоже, этим временным облегчением Бог дает несчастному всего лишь возможность в последний раз спокойно проститься с близкими и материальным миром. Так это происходит и с Анной, когда они с Вронским принимают решение ехать в деревню.

Но владеющий Анной «злой дух» в очередной раз берет верх. «И смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей.

... Нужно было одно - наказать его»³³.

Ночью после двукратного приема опиума ей опять приснился старый сон-кошмар, в котором уже неоднократно являвшийся в ее сонном сознании старичок-мужичок, наклонившись, не обращая на нее внимания и бормоча какие-то бессмысленные французские слова, что-то творил с железом.

Анна делает последние шаги к смерти. Уезжает из дома, который стал ей страшен... Отрешается от детских и далеких воспоминаний... Вновь растравляет в своем сердце нескончаемый и бессмысленный спор-соперничество с Вронским: «...Я докажу ему...». Видится с Долли и Кити и уезжает от них с нелепой, но важной для ее решения умереть мыслью, что они радуются ее несчастью.

Анна итожит свои счета с жизнью: «...Все мы ненавидим друг друга»; «Никогда никого не ненавидела так, как этого человека!», - думает она о Вронском. «Если бы я могла быть чем-нибудь кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки; но я не могу и не хочу быть ничем другим», - открывается ей страшная правда довлеющей над ней страсти. «Сережа? –

³³ Там же, с. 345.

вспомнила она. – Я тоже думала, что любила его, и умилялась над своею нежностью. А жила же я без него, променяла же его на другую любовь и не жаловалась на этот промен, пока удовлетворялась той любовью». И она с отвращением вспоминала про то, что называла той любовью»³⁴.

Все и всё вокруг ей кажутся «уродливыми и изуродованными». Последнее слово знаменательно. Оно, вполне в согласии с толкованием Бродского о самостоятельности текста под пером автора, означает переход к приближающейся развязке: через некоторое время тело Анны будет в самом деле изуродовано и, опережая этот ужас, Анна подсознательно начинает привыкать к тому, что то, что с ней делается, есть типичная характеристика, чуть ли не обыденность земной жизни, то есть то, что она видит постоянно, к чему привыкла и что, по этой причине, уже не должно быть страшно.

Но привыкнуть к этому нельзя. И последней попыткой – возвратом к жизни все же становится ее инстинктивное движение выхватить назад из-под едущего вагона свое тело, под который она его только что бросила. Поздно. «И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла»³⁵. Анны не стало. Страсть загасила свечу-жизнь.

Так, впервые в «Войне и мире» в образе Наташи Ростовой приблизившись к проблематике любви, выходящей на одну из своих границ, но смертельную границу страсти, Лев Толстой во всей полноте раскрыл природу этого явления в романе «Анна Каренина».

Знал ли это чувство сам Толстой или оно было навеяно становившейся «модной» в то время темой адюльтера, широко обсуждавшейся в мировой литературе? На этот счет мы имеем компетентное свидетельство В.Б. Школовского в его более раннем, чем цитирувавшаяся монография А. Зверева и В. Туманинова, исследовании о Толстом. Согласно Школовскому,

³⁴ Там же, с. 359.

³⁵ Там же, с. 364.

в годы написания «Анны Карениной» тема адюльтера активно обсуждалась, в частности, во Франции, в том числе в произведениях Дюма-сына. Так, в книге «Мужчина – женщина», изданной в 1872 году, рассматривался вопрос: убивать или прощать неверную жену. Однако, при том, что Толстого, как он признавался в письме к Т.А. Кузминской, «поразила эта книга», для сюжета своего романа он не мог сразу найти однозначного решения. В первоначальном варианте муж Анны Михаил Михайлович (Каренин) дает жене развод, но при этом «становится «привидением»: это «осунувшийся, сгорбленный старик, напрасно старавшийся выразить сияние счастья жертвы в своем сморщенном лице».

В первоначальном варианте романа участвовали и модные тогда в общественном сознании нигилисты, которые полагали, что все происходящее - таково, каким и должно быть. Муж Анны (тогда еще - Татьяны) был выписан идеальным человеком. Он сразу соглашался на развод, принимал в своем доме любовника жены, а затем брал на воспитание чужого ребенка. Сама Татьяна – Анна обладает дурными манерами: она берет жемчуг в губы, слишком громко разговаривает. Автор прямо говорит: «отвратительная женщина». Что касается Вронского, то первоначально он не блестящий аристократ, а чудаковатый казачий офицер, не без напряжения принятый в высшем свете.

Но Толстой, кажется, чувствует недопустимую для подлинно философского заострения проблемы простоватость такой трактовки характеров. Продолжая колебаться в размышлениях над развязкой он задается вопросом: не использовать ли «французское решение» конфликта? Шкловский пишет: «Один раз он (муж, давший развод. – В.Ш.) пошел в комитет миссии. Говорили о ревности и убийстве жен. Михаил Михайлович ...встал медленно и поехал к оружейнику, зарядил пистолет и поехал к ней».

Слова «к ней» написаны по зачеркнутому «к себе».

Разведенные супруги не могут помочь друг другу. «Связь наша не прервана, - говорит Михаил Михайлович. – Я сделал дурно. Я должен был

простить и прогнать, но не надсмеяться над таинством...»³⁶. Но все же выстрел не раздался. Толстой выбрал самоубийство женщины как единственно возможный выход. Далее Шкловский утверждает, что в таком выборе решения проблемы на Толстого решающее влияние оказал Пушкин, предостерегавший от ложных развязок. В похожей коллизии – незаконченном фрагменте «Гости съезжались на дачу» – он переносил читательский интерес на саму женщину, а не на ее вину.

Вполне возможно, что это так и было. Однако вместе с тем, нельзя отрешиться и от того, что и Толстой в своем жизненном опыте знал чувства, которые если и не вполне заслуживали именования страстей, то в чем-то к ним были близкие.

В этой связи особенно ценны наблюдения В.А. Жданова, одного из глубоких исследователей творчества великого писателя, знатока и хранителя его рукописей, к тому же, более полувека проработавшего в Государственном музее Л.Н. Толстого в Москве. Приведу одно из них, имеющее прямое отношение к теме любви-страсти и исходящее от супруги Толстого Софьи Андреевны Берс. Уже в первые годы семейной жизни в своем дневнике она записала: «Лева все больше и больше от меня отвлекается. У него играет большую роль физическая сторона любви. Это ужасно; у меня никакой, напротив»³⁷.

Впрочем, это отдельное наблюдение, органично встраивается и в более общую, чрезвычайно важную для Толстого тему семьи. И именно она, являющаяся, с одной стороны, продолжением темы любви-страсти, с другой по мере развития сюжета постепенно оказывается доминантой романа. Сравнивая роман об Анне с «Войной и миром», Толстой четко

³⁶ Шкловский В. Лев Толстой. М., изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1967, с. 345. Впрочем, и такой чудовищный исход не был искусственно сконструирован писателем. Шкловский отмечает, что «Лев Николаевич сам видал, как бросилась в 1872 году мучимая ревностью Анна Степановна Зыкова, дочь полковника, под поезд. Ее любовник А.Н. Бибиков сделал предложение гувернантке, приглашенной к сыну. Анна Степановна взяла узелок, перемену белья и платье и поехала в Тулу, потом вернулась в Ясенки: эта станция в пяти верстах от Ясной Поляны. Здесь Анна бросилась под товарный поезд, потом ее анатомировали. Лев Николаевич видел ее с обнаженным черепом, всю раздетую и разрезанную в ясенской казарме. Об этом записано у Софьи Андреевны под заглавием «Почему Каренина Анна и что навело на мысль о подобном самоубийстве?». Там же, с. 341.

³⁷ Жданов В. Толстой и Софья Берс. М., Алгоритм, 2008, с. 97.

формулировал: «...в «Анне Карениной» я люблю мысль *семейную*»³⁸. И именно под этим более широким углом зрения и нужно, на мой взгляд, смотреть на центральную проблему самой Анны – проблему любви-страсти.

Как легко заметить, в «Анне Карениной» в полной мере развернуты три семейные истории: семьи Долли, семьи Кити и разрушенной старой, но так и не построенной семьи Анны. И если Долли, сохраняя семью, вся уходит в воспитание детей, то Кити вместе с Константином Левиным строит идеальную модель семейного счастья. При этом, сравнивая этот нарисованный Толстым идеал с трагической попыткой создания новой семьи Анной Карениной, ясно видишь принципиальное между ними различие, всячески подчеркиваемое автором романа. Для Кити любовь – хотя и важнейшее, но все же средство строительства семьи. В то время как для Анны любовь – самоцель, которая именно в этом своем качестве и ведет к гибели.

Сколь тонка, возвышенна и даже совершенна Анна в любви, столь же неудачлива и невосприимчива она к строительству семьи как органического продолжения любви, как дома, в котором только и может жить это чувство. Гениальная в одном, Анна неудачлива и неспособна к другому. Целиком поглощенная личными переживаниями, она не может возвыситься до восприятия ценности и общих радостей семьи.

Да, создание семьи для толстовской героини со столь сложной психической структурой было сопряжено с большими трудностями. Этот путь не мог не быть тернистым и долгим. Но это был всего лишь путь. Анна не прошла его и ее трагедия воплотилась в форму невозможности переиначить себя для достижения семейной цели. В этом и лежит объяснение того, что в «Анне Карениной» Толстой, наряду с проблемой любви-страсти исследовал и любил «мысль семейную»³⁹.

³⁸ Там же, с. 211.

³⁹ «Дом – дом – дом: колокольный звон семейной темы – дом, домочадцы. Толстой откровенно дает нам ключ на первой же странице романа: тема дома, тема семьи». (Из записных книжек Набокова). И еще из его же «Комментариев»: «Слово *дом* (*в доме, домочадцы, дома*) повторяется восемь раз в шести предложениях. Этот тяжеловатый и торжественный звон над обреченной семейной жизнью (одна из

Конечно, для нас навсегда останется загадкой, как и из каких собственных переживаний художник строит внутренний мир и, тем более, выводит трагедию своей героини. С определенностью можно, наверное, сказать лишь то, что если бы собственная семейная жизнь Толстого была безоблачна и счастлива, то романа под названием «Анна Каренина» не появилось.

Одиночество и постоянно испытываемые страдания Толстого от жизни в собственной семье, которые с течением времени становились все невыносимее, отмечается всеми его исследователями. Он не в силах смириться, не может «пассивно покоряться, не может учесть состояния Софьи Андреевны, и каждое действующее лицо – и жена и взрослые дети – вызывают его гнев. Он становится невыносим для семьи. Семья делается невыносимой для него». «...Очень тяжело в семье, - записывает он. - Тяжело, что не могу сочувствовать им. Все их радости, экзамен, успех света, музыка, обстановка, покупки – все это я считаю несчастьем и злом для них и не могу этого сказать им. Я могу, я говорю, но мои слова не захватывают никого. Они как будто знают не смысл моих слов, а то, что я имею дурную привычку это говорить. В слабые минуты – теперь такая – я удивляюсь их безжалостности. Как они не видят, что я: не то, что страдаю, а лишен жизни...»⁴⁰. И еще о трагическом для отца и мужа восприятии семьи: «Дети – сонные, жрущие». «Дома – праздность, обжорство и злость». «Жена очень спокойна и довольна и не видит всего разрыва»⁴¹. «Только что я написал это, она пришла ко мне и начала истерическую сцену. ...Она до моей смерти останется жерновом на шее моей и детей. Должно быть, так надо. Выучиться не тонуть с жерновом на шее»⁴². Страшные слова о жуткой жизни, из которых возникла «Анна Каренина». И как Анна не в силах обрести ценность семьи в уединении деревенской глуши, как Анне нужен свет, место в театральной ложе, в

главных тем книги), - откровенный стилистический прием». Набоков В. Лекции по русской литературе. Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Толстой, Тургенев. М, «Независимая газета», 1996, сс. 233, 284.

⁴⁰ Жданов В. Цит. соч., с. 264.

⁴¹ Там же, с. 266.

⁴² Там же, с. 267.

которой бы она располагалась вместе с Вронским, так и Толстому, при всем его понимании своей особенности и одиночества в кругу домочадцев, все же нужно это свое место в Ясной Поляне, хотя бы как несбыточная гармония, невозможная для него. «Если бы она ушла из этого театра, - замечает Шкловский, - если бы покинула его, то была бы спасена; но Лев Николаевич сам не может покинуть свое место в Ясной Поляне, он сам пленник семьи, благополучия, славы»⁴³. Если не каждодневный ад, то, по меньшей мере, ежедневные и постоянно усиливающиеся переживания были той питательной почвой, на которой рос один из величайших русских романов XIX столетия – «клубок этических мотивов»⁴⁴, как называл его Владимир Набоков.

* * *

От кошмара постоянно усиливающейся и неуклонно стремящейся к роковой черте любви-страсти Анны Толстой искал и находил отдохновение в истории своих идеальных представлений об истинной любви Кити Щербацкой и Константина Левина, своего художественного «Я»⁴⁵.

Я уже отмечал, что для того, чтобы чувство Кити окрепло и развилось в истинное, тем более – идеальное или идеализируемое автором чувство любви, органически перетекающее в высшее – согласно Толстому – семейное чувство, Кити, подобно Наташе Ростовской, также необходимо пройти свой «круг ада». Круг этот - увлечение Алексеем Вронским, тогда еще не преображенным любовью-страстью Анны, а вполне заурядным повесой, в чем-то даже напоминающем Анатоля Курагина.

Кстати, в то время еще не представлял собой идеального героя и Левин, который, подобно его создателю-автору, в молодости не был чужд праздности и плотских утех. И Левин, и Толстой знакомят супруг с содержанием своих откровенных холостяцких дневников. На Кити, как и на

⁴³ Шкловский В. Цит. соч., с. 365.

⁴⁴ Набоков В. Цит. соч., с. 227.

⁴⁵ Говоря так, я прежде всего имею ввиду данную В. Набоковым оценку Константина Левина как «самого автобиографического героя» Толстого. Однако, вместе с тем, следует помнить и о точном замечании В. Шкловского: «Левин не имеет прототипа, он не Толстой, потому что он – Толстой без силы анализа, без гения. ...То, что не вышло у Льва Николаевича Толстого с Софьей Берс, выходит у Левина». Шкловский В. Цит. соч., сс. 365 - 366.

Софью Андреевну эти неожиданные свидетельства производят угнетающее впечатление. И оно тем более сильно, что в жене Толстого, тогда еще восемнадцатилетней девушке, нет ничего, что хотя бы отдаленно могло соответствовать чувственным переживаниям мужа. Софья Андреевна, напротив, думает о другом. «Всегда, с давних пор, я мечтала о человеке, которого я буду любить, как о совершенно целом, новом, *чистом* человеке». А тут – «просто баба, толстая, белая, - ужасно»⁴⁶, - записывает она об одном из увлечений Толстого - простой крестьянкой Степанидой, от которой у него был сын. (Вспомним, что развитие некоторых линий этой проблематики мы находим и в повести «Дьявол», в которой ее герой помещик Иртенев, так же как и сам автор «Анны Карениной», оказывается во власти плотской страсти к простой крестьянке Степаниде, к тому же гулящей).

Приведенное в данном месте замечание мне представляется уместным в связи с только что обозначенной темой глубинных размолвок Толстого с женой. Я думаю, что, не прощая мужу признанных им и предъявленных к покаянию грехов молодости, Софья Андреевна обнаружила отсутствие в себе способности прислушаться к «пульсу» прошлой жизни мужа. Более того, закрепила, по крайней мере, в своей душе, убеждение, что этот пульс не переменялся, что он чужд ей и, более того, покаяние не принимается. Очевидно, душевной близости между супругами это не прибавило, но, к пользе русской словесности, явилось дополнительным импульсом для Толстого искать в мире своих фантазий идеальную любовь. Так в романе появляется линия Константин Левин - Кити Щербацкая.

Высказывая суждение о глубине предпринятого Толстым анализа, В. Набоков в своей лекции о писателе, оставляя за скобками оценки Пушкина и Лермонтова и выстраивая собственную иерархию классиков русской литературы XIX столетия, на первое место ставит Толстого. При этом, одним из критериев для создаваемой им «лестницы» он называет присущее толстовскому письму «уникальное равновесие времени», благодаря которому

⁴⁶ Жданов В. Цит. соч., сс. 67, 72.

любой читатель любого времени получает ощущение того, что «проза Толстого течет в такт нашему пульсу, его герои движутся в том же темпе, что прохожие под нашими окнами, пока мы сидим над книгой»⁴⁷.

Это качество романа, однако, не лишает его другого важного свойства - абберации времени, проживаемого разными героями. Так, с одной стороны, например, пары (мужчина и женщина) движутся быстрее, чем одиночки; а, с другой, так же, к примеру, есть разница между физическим временем Анны и духовным временем Левина⁴⁸. Очевидно, что с помощью такого эффекта Толстому подспудно удастся создать у нас желаемые им восприятия героев романа. Например, более быстрое движение пары Левин – Кити в стадии супружества усиливает возникающее у нас чувство гармоничности отношений между ними: у них все как будто слажено, пригнано и их общее движение ничто не тормозит.

В то же время, одиночка Каренин в процессе своих переживаний для усиления вызываемого у читателя тягостного чувства недовольства героем и, одновременно, сочувствия ему, движется более медленно: ведь чувства недовольства и сочувствия требуют от нас внутреннего согласования, взаимной уживчивости и писатель предоставляет нам для этого время.

Точно так же, духовное время Левина, требующее осмысления героем жизненно ценных для него истин, тем более таких, которые важны и для самого автора, намеренно Толстым замедляется: нам дается возможность подольше поразмышлять над авторскими идеями. И, напротив, предрешенность вопроса о физической кончине Анны как единственно возможном способе решения проблемы с помощью использования Толстым метода ускорения времени готовит нас к тому, что уже ничто не может быть изменено. Корзина, в которую упадет отсеченная голова, придвинута, нож гильотины поднят на высоту и вот-вот обрушится на шею жертвы.

⁴⁷ Набоков В. Цит. соч., с. 225.

⁴⁸ Там же, сс. 275, 276.

С особой силой время начинает ускоряться для Анны в последний день ее жизни. Толстой тщательно готовил нас именно к этому концу. В особенности значимы для нашего приятия именно этого рокового финала сны Анны и Вронского, в которых действует карлик-мужичок, копошащийся в мешке, звякающий чем-то железным и при этом бормочущий бессмысленные французские слова. Из других произведений Толстого, в том числе – из знаменитого салона Анны Павловны Шерер в романе «Война и мир», французский в устах русского – один из синонимов фальши. (Вспомним, что любимые герои Толстого в общении между собой им почти не пользуются. Тем более странно было бы услышать его в минуты либо смертельной опасности, либо любовных отношений). А звякающее в руках мужичка железо отзывается щелчком затворов в сцене расстрела пленных, при котором присутствует Пьер, равно как и вызывает в воспоминаниях скрежет и громыханье подаваемого паровоза в начале романа об Анне. Да и кто знает, какие звуки слышит приговоренный к смерти, когда изготавливаемый для казни нож гильотины возносится на высоту?

Кульминация неумолимого вторжения смерти в пространство последнего дня жизни Анны, как точно подмечает В. Набоков, Толстым создается особым средством, впервые (задолго до Джеймса Джойса) примененным в мировой литературе - непрерывным внутренним монологом героини, потоком ее сознания. «Этот естественный ход сознания, то натякающийся на чувства и воспоминания, то уходящий под землю, то, как скрытый ключ, бьющий из-под земли и отражающий частицы внешнего мира; своего рода запись сознания действующего лица, текущего вперед и вперед, перескакивание с одного образа или идеи на другую без всякого авторского комментария или истолкования»⁴⁹.

Классически точную оценку двух главных любовных линий: Анны – Вронского и Кити – Левина вновь встречаем у В. Набокова. О первом союзе Набоков говорит как о построенном лишь на физической любви и потому

⁴⁹ Там же, с. 263.

обреченном. Женитьба же Левина «основана на метафизическом, а не физическом представлении о любви, на готовности к самопожертвованию, на взаимном уважении»⁵⁰. Но, добавлю от себя, за этой духовно богатой и личностно наполненной метафизикой, конечно же, незримо стоят ценности семьи и дома. В русском мировоззрении, как это уже много раз показывалось классиками отечественной литературы до Льва Толстого, Дом - не просто общее теплое место, где у каждого есть свое пространство для тела и души, где согласованно перемещающиеся тела родственны, а души звучат в унисон. Без этого, конечно, нет подлинного Дома, но этого, как показал в романе Толстой и к чему он неустанно стремился всю жизнь, все равно недостаточно. Согласимся, что при таком лишь понимании мы с неизбежностью могли бы придти и к признанию наличия Дома у других «домочадцев», совсем не отвечающих подлинному смыслу этого высокого слова. Ведь гармонично существуют в своем доме, например, гоголевская чета - Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна – герои «Старосветских помещиков», равно как и тихо изживают в своем доме отмеренный земной срок Фимушка и Фомушка Субочевы из тургеневской «Нови». Вспомним, что их своеобразной любовью и взаимной заботливостью восхищались оба великих автора. Но они же отчетливо понимали растительный характер бытия и взаимных симпатий этих персонажей.

На самом же деле, продолжением, а, с другой стороны, фундаментальной основой Дома в высоком его смысле, как это глубоко понимал Толстой, является Дело, которым живет глава Дома и которое именно в его подлинном изначально высоком смысле понимается и принимается как таковое хозяйкой, равно как и остальными «чадами Дома» - домочадцами. Да и сама хозяйка должна иметь такое фундаментальное для Дома – Семьи дело: как правило, это воспитание детей.

Не только метафизический – в набоковском понимании - смысл (взаимное уважение и готовность к самопожертвованию) держит и питает

⁵⁰ Там же, с. 230.

подлинную любовь. Источником ее жизни и непрерывного развития с неизбежностью выступает тот каждодневный способ обоюдной самореализации, который избирают для себя и которому согласно следуют муж и жена. Это то, чего, к несчастью, не смогли обрести Анна и Вронский. Это то, к чему отчаянно стремился всю жизнь Толстой. Это то, чего желали и что обрели Кити и Левин.

Для Левина, как и для самого Толстого, дело, которым держится Дом, было крестьянствование, сельские занятия. Как мы помним, занятия эти, а, точнее, присущее этому занятию разнообразие, целиком заполняющее жизнь человека, возможное лишь в коллективном гармоничном осуществлении многих людей и в непосредственном контакте с природой, в русской литературе издавна было одним из излюбленных позитивных примеров идеально организованного человеческого бытия. Начиная с Фонвизина с его «государственным предпринимателем» Стародумом, через образы «примерных помещиков» во втором томе гоголевских «Мертвых душ» сельские «люди дела» все активнее осваивают пространство русской классической прозы и поэзии. В особенности, как мы писали об этом ранее, эта проблематика исследовалась и была широко представлена в рассказах и романах И. Тургенева. Не только в городскую, но и в деревенскую среду помещал своих успешных предпринимателей И. Гончаров. Все эти примеры неуклонно развеивают до недавнего времени прочно бытовавший в отношении русской классики миф о ее населенности исключительно «мертвыми душами» и «лишними людьми».

Веское слово в пользу делового начала в русском земледельце своим творчеством, равно как и самой жизнью сказал и Лев Толстой. После отказа в сватовстве, полученном в доме Кити Щербацкой, после посещения брата, Левин, как мы помним, возвращается к себе в деревню. И уже по дороге от станции он невольно начинает ощущать начавшее происходить с ним чувство нравственного очищения. Он решает, что с этого дня будет надеяться только на возможное и реальное, а не на фантастическое, как он считает,

желание счастья женитьбы на девушке, которой, как он полагает, он не достоин. Он обещает не забывать и всячески помогать своему несчастному брату. Он, наконец, дает себе слово (хотя он и прежде много работал и не жил роскошно), работать теперь еще больше и еще сильнее умерять свои жизненные потребности, чтобы скрасить «несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа». При этом, что важно для понимания того, что Толстой рисует образ не «говоруна», а действительно делового человека, его охватывает чувство, «что с собой сделать все возможно»⁵¹.

Откуда же такая неожиданная сила и вера в себя и свои возможности? Вспомним, прежде всего, что в отличие от Кити и, тем более, от Анны и Вронского, Левин – органическое продолжение веками заведенного земледельческого уклада народной жизни. Дом, в котором он живет, был домом и, одновременно, частью мира, в котором жили, работали и умерли его отец и дед, и в котором и он сам хочет прожить свою жизнь. И хотя он едва помнил свою мать, понятие о ней было для него священным и его будущая жена в его воображении должна была быть повторением «того прелестного, святого идеала женщины, каким была для него мать». И здесь же, словами Левина, Толстой формулирует свою принципиальную жизненную позицию, свое нравственное кредо: «Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье»⁵².

Как это кажется далеким от главной темы романа – трагедии любви-страсти и ее эпитафии «Мне отмщение, и Аз воздам», которое, в чем, безусловно, опять же, прав Набоков, означает: общество не имело права

⁵¹ Толстой Л.Н. Цит. соч., т. 8, сс. 106, 107.

⁵² Там же, сс. 108 – 109.

судить Анну, но и Анна, не имела право наказывать Вронского, совершая самоубийство⁵³. Однако «далекость» эта всего лишь кажущаяся. Дело как основа семьи, есть прямое продолжение любви, что, к несчастью, не соответствовало базовым представлениям описываемого в романе высшего света. Толстой, как великий художник, постоянно и разнообразными способами занят анализом настоящих и фальшивых смыслов и ценностей современного ему общества, в том числе и посредством созидания своего мировидения, создания собственной мировоззренческой системы, в которой воззрения земледельца Константина Левина – центральное звено⁵⁴.

Следует отметить, что позиция, в которую ставит себя Левин в отношении с крестьянами, уже имела традицию в русской литературе. И если во втором томе гоголевских «Мертвых Душ» Чичиков еще только собирается стать помещиком и как бы примеряет на себя одежды будущих отношений с крестьянами по мере знакомства с разными типами увиденных им помещиков, если в «Записках охотника» Тургенева хозяйствуют не только помещики, но и сами крестьяне, а в его романной прозе герои-помещики лишь объявляются автором «рациональными» и «успешными» хозяевами без показа того как они ими становятся, то линия, которую продолжает Лев Толстой, иная. Свое начало в русской литературной традиции, на мой взгляд, она берет от «Письма сельского жителя» Н.М. Карамзина (1803 г.) и главы

⁵³ Набоков В. Цит. соч., с. 231.

⁵⁴ Вопрос «Как долго представления Толстого об идеальном и нравственном хозяине, которого олицетворял Левин, оставались в его мировидении неизменными» заслуживает специального рассмотрения, выходящего за пределы моего анализа. Но то, что они продолжали эволюционировать, не вызывает сомнений. Так, приводя пример глубины погружения великого писателя в позицию «опрошения», состоявшегося значительно позднее написания «Анны Карениной», приведу свидетельство встречавшегося с ним в Ясной Поляне в 1888 году уже цитировавшегося ранее чешского исследователя Т.Г. Масарика. В ответ на сообщение одного из молодых толстовских последователей, который жил в деревне а la мужик и пешком пришел в Москву (Толстой тоже несколько раз пытался не пользоваться железной дорогой), что ему первым делом пришлось избавляться от насекомых, которых он набрался в дороге, Толстой «с каким-то радостным удовлетворением» заметил следующее. «Современная чистота – нечто противоестественное и возможна лишь потому, что другие люди работают за нас; чистоплотность актрис, полусвета и т.п. неизбежно способствует тому, что у мужика есть вши; зато ...этот мужик чист душой, только тело у него не чисто, в то время как у цивилизованных чистых (людей) нечиста душа». В ответ, - сообщает Масарик, - я вспомнил ту местность в Индии, где вшей считают священными насекомыми, которым фанатичные аскеты отдают себя на съедение, чтобы приобщиться к святости.

«- Да, святость вшей, - задумчиво повторил Толстой и попытался опровергнуть мои доводы в пользу американской *cleanliness is (next to) godliness* (Чистота – половина здоровья)». Масарик Т.Г. Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России. Книга III, части 2 – 3. Санкт-Петербург, издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2003, с. 361.

«Русский помещик» из «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя (1847 г.). Так же не следует забывать и собственный, в этом же ключе написанный почти за двадцать лет до «Анны Карениной» рассказ Толстого «Утро помещика» (1856 г.), о котором речь шла ранее. Что же было общего в этой традиции и что нового в эту теоретическую конструкцию вносит Толстой образом Левина?

Как помним, в форме письма близкому другу Карамзин описывает печально начавшийся и счастливо завершившийся опыт помещичьего переустройства сельской жизни. Молодой помещик начинает с того, что сделавшись господином изрядного имения и будучи напитан духом ненависти к злоупотреблениям власти, отдал крестьянам всю землю, совсем как пушкинский Онегин ввел умеренный оброк и уволил прежних крестьянских притеснителей - управителя и приказчика. Сам же, в порыве человеколюбия, написал крестьянам: «Добрые земледельцы! Сами изберите себе начальника для порядка, живите мирно, будьте трудолюбивы и считайте меня своим верным заступником во всяком притеснении».

Каково же было его удивление и разочарование, когда по прошествии некоторого времени он посетил деревню и увидел неожиданное: всюду бедность, весьма худо обработанные поля, пустые житницы и гниющие хижины. Опрошенные им старики объяснили, что в прежние изобильные времена помещик сам жил в деревне и смотрел не только за своими, но и за крестьянскими полями, равно как и за всеми другими сторонами сельского бытия. «Реформатор» пришел к выводу, что воля, данная им крестьянам, обратилась для них в величайшее зло - то есть вволю лениться и предаваться «гнусному пороку» пьянства. Что нынче будни сделались для крестьян праздниками, а люди услужливые, «под вывескою орла», везде предлагают им средство избавляться от денег, ума и здоровья, ибо в редкой деревне нет питейного дома. Дарованную помещиком землю крестьяне отдавали внаймы и брали по пяти рублей за десятину, при том, что она могла бы принести от

тридцати до сорока рублей, если к ней применить собственный труд. Но им даже и для своей выгоды работать не хотелось.

Что было делать? И «реформатор» возобновил господскую пашню, сам сделался усердным экономом, начал входить во все подробности, наделил бедных всем нужным для хозяйства и объявил войну ленивым. При этом он вместе со всеми трудился, на полях встречал и провожал солнце, требовал от крестьян во всем строгого отчета, перестроил всю деревню самым удобнейшим образом и даже ввел по возможности опрятность и чистоту в крестьянских избах, не столько приятную для глаз, сколько нужную для сохранения жизни и здоровья. Наконец, - без всяких английских мудростей, то есть без хитрых машин, не усыпая земли ни золою, ни известью, ни толчеными костями, сумел добиться высоких урожаев, что обеспечило всеобщее благополучие. Крестьяне из бедных сделались зажиточными, у них в достатке появился хлеб, лошади, развилось скотоводство и реальной стала надежда со временем сделаться сельскими богачами. «Один опыт, - заключает Карамзин, - мог уверить их в счастии трудолюбия. Принудьте злого делать добро: отвечаю, что он скоро полюбит его. Заставьте ленивого работать: он скоро удивится своей прежней ненависти к трудам. Сократ называл добродетель *знанием*: всякий порок можно назвать *невежеством*, - ибо он есть слепота ума; ибо в нем гораздо более страдания, нежели приятности»⁵⁵.

Наставительно-назидательным духом, как известно, пронизано и гоголевское обращение к русскому помещику. Быть помещиком над своими крестьянами, - обращается Гоголь к земледельцу-хозяину, - повелел тебе Бог, и он взыщет, если помещик променяет свое звание на другое. «...Не служа доселе ревностно ни на каком поприще, сослужишь такую службу государю в званье помещика, какой не сослужит иной высокочинный человек. Что ни говори, но поставить 800 подданных, которые все, как один, и могут быть

⁵⁵ Карамзин Н.М. Избранные сочинения в двух томах. Л., 1964. Т. 2, с. 291.

примером всем окружающим своей истинно примерною жизнью, - это дело не бездельное и служба истинно законная и великая»⁵⁶.

Как и Карамзин, Гоголь призывает помещика быть не только управляющим, но истинным жизненным наставником, живущим с крестьянами одной жизнью. Отсюда – его советы по поводу устройства «пира на всю деревню» перед всякими большими общими делами, как то посевов, покосов, уборки, чтобы в эти дни «был общий стол для всех мужиков на твоём дворе, как бы в день самого Светлого Воскресенья, и обедал бы ты сам вместе с ними, и вместе с ними вышел бы на работу, и в работе был бы передовым, подстрекая всех работать молодцами, похваливая тут же удальца и укоряя тут же ленивца»⁵⁷. Заводя речь о сельской школе, Гоголь, подобно Карамзину, поругивает «иностранных филантропов» и воздаёт должное правилам исконно православной, а не книжной морали. Аналогичную роль оба автора отводят и фигуре сельского священника – первого советчика и помощника помещика. Завершаются оба текста торжеством (реальным и обещанным) помещичьих задумок и личных усилий, всеобщим процветанием, духовным родством помещика и крестьян и, наконец, чувством честно исполненного господского долга.

Стремясь продолжить традицию обнаружения совместно приемлемого поведения как в отношении главного крестьянского дела, так и во взаимоотношениях между помещиком и крестьянами, Толстой посвящает этому замыслу многие страницы романа «Анна Каренина». Каковы же были надежды писателя? Что грезилось ему в идеальном согласованном труде помещика и крестьян? Лучше всего на этот вопрос отвечают заключительные страницы рассказа «Утро помещика». После обхода нескольких дворов своей деревни молодой помещик Нехлюдов, «увернувшись с головой в армяк, засыпает здоровым, беззаботным сном сильного, свежего человека. И вот видит он во сне города: Киев с угодниками и толпами богомольцев, Ромен с

⁵⁶ Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. М., 1952. Т. 8, с. 328.

⁵⁷ Там же, с. 324.

купцами и товарами, видит Одест и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше - и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами, - и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше...

«Славно!» - шепчет себе Нехлюдов; и мысль: зачем он не Илюшка - тоже приходит ему»⁵⁸.

Знаковое для отечественной словесности слово «тройка» вновь прозвучало. И вспоминается бессмертный Гоголь с его обращенными к несущейся (по дороге ли, по небу?) птице-тройке словами: «Русь! Куда же несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа...» Мечется на земле и мечтает воспарить русский человек. И в мечтах погружается он в сон - как Павел Иванович Чичиков, Илья Ильич Обломов, герой соллогубовского «Тарантаса» Иван Васильевич⁵⁹. Мечтает очередной добрый русский помещик и в рассказе молодого хозяина Ясной Поляны.

Но не хочет оставаться только мечтателем мятущийся в вечных вопросах бытия опытный помещик Толстой. И со своими вопросами голосом Константина Левина он вновь обращается к современникам и к нам, потомкам. Что же мы слышим?

* * *

Как дельный и рациональный человек Левин начинает свое дело с обдумывания плана хозяйственного реформирования крестьянской жизни. Он справедливо приходит к мысли, что при обсуждении вопроса об

⁵⁸ Там же, с. 372.

⁵⁹ «Иван Васильевич, нагнувшись через тарантас, смотрел с удивлением: под ним расстилалось панорамой необозримое пространство, которое все становилось явственнее при первом мерцании восходящего солнца. Семь морей бушевали кругом, и на семи морях колебались белые точки парусов на бесчисленных судах. Гористый хребет, сверкающий золотом, окованный железом, тянулся с севера на юг и с запада к востоку. Огромные реки, как животворные жилы, вились по всем направлениям, сплетаясь между собой и разливая повсюду обилие и жизнь. Густые леса ложились между ними широкой тенью. Тучные поля, обремененные жатвой, колыхались от предутреннего ветра. Посреди них города и селения пестрели яркими звездами, и плотные ленты дорог тянулись от них лучами во все стороны. Сердце Ивана Васильевича забилося». См.: Соллогуб В.А. Три повести. М., Советская Россия, 1978, с. 258.

организации и ведении рационального хозяйства в числе неизменно важных и постоянных факторов нужно принимать во внимание не только почву и климат, но и характер рабочего, причем, как он полагает, характер «неизменный».

Но Левин не просто рациональный хозяин, которого многократно пытались изобразить и изобрести в русской литературе. Он, прежде всего, хозяин «органичный» - то есть глубоко понимающий, эмоционально сопереживающий и интуитивно верно угадывающий все относящееся к крестьянскому делу и, что не менее важно, все, что может иметь отношение к попытке реформы в России. Он, к тому же, что, возможно, самое главное - Россию любящий. Такова уж, как мне представляется, наша страна, что в ней ничего нельзя сделать без любви. Кстати, в контексте этой мысли, не лишней кажется и столь тщательно проработанная в русском мировоззрении тема любви, в том числе и только что рассматривавшаяся ее разновидность любви-страсти.

То, что Левин действительно Россию любит, видно и из того, как Толстой - глазами Левина – сообщает нам об обыденных деталях. Лужи и грязь режут (но не слепят, не заставляют жмуриться или слезиться) Левину глаза своим «блеском на солнце». Коровы, выпущенные на варок, «сияют переливающейся гладкою шерстью». (Само слово «сияют» - синоним «сияние» - настраивают нас на созерцание чего-то чуть ли не высшего). Он наблюдает «за мычавшими, ошалевшими от весенней радости телятами». (Слово «шаловой» несет в себе призрак удалства, шалости, безобидной и неопасной игривости, радости).

Впрочем, идиллия быстро заканчивается, как только хозяин сталкивается с плодами трудов рук человеческих. Левин обнаруживает, что требуемые для корма решетки поломаны и не починены с зимы. Он послал за плотником, который в это время должен был чинить молотилку. Но тот чинил бороны, до которых руки не дошли еще с масленицы. Встретившийся приказчик доложил, что и клевера сеяли не на двадцати, как велел Левин, а лишь на

шести десятинах, и что «овес пересыпают; как бы не тронулся», - что верно означало, что, не пересыпанный своевременно, он уже пророс. Само собой, приказчик уговаривал не беспокоиться и уверял, что все будет сделано вовремя, но при этом имел всегдашний свой вид, который как бы говорил: все хозяйские затеи и планы, это хорошо, но что выйдет на деле – то это, как бог даст. Левин видел: «...повторялось это вечное неряшество хозяйства, против которого он столько лет боролся всеми своими силами»⁶⁰. Нельзя сказать, что Левину с приказчиком просто не повезло. У него перебывало их много. Но всем им было свойственно одно общее, вселенное в них как бы какой-то стихийной силой убеждение, согласно которому, что ни делай, а все равно выйдет – «как бог даст».

Приехав на поле, где шел сев клевера, Левин обнаружил, что работники разбрасывают не размятые семена. Они не были виноваты в том, что им насыпали семена именно в таком виде, но Левину все же было досадно, что они заведомо портили дело. При этом один из работников, само собой, уверяет Левина, что старается «как отцу родному». Приехав домой, Левин немного успокаивается, так как встречает нечаянного и желанного гостя – Степана Павловича. Но вскоре в разговоре выясняется, что тот за бесценку продал лес своей жены купцу Рябинину. Эта новая, на этот раз «барская» бесхозяйственность, выводит Левина из себя. Но и Стива стоит на своем:

« - Так что же? Считать каждое дерево?

- Непременно считать. А вот ты не считал, а Рябинин считал. У детей Рябинина будут средства к жизни и образованию, а у твоих, пожалуй, не будет!»⁶¹, - жестко заключает Левин спор с Облонским.

При этом Левин вовсе не косный ретроград. Он даже не против, когда у бездельных и бесхозяйственных дворян скупают землю богатеющие мужики. По его понятиям, раз это на пользу делу, то так и должно быть. «Мужик работает и вытесняет праздного человека. Так должно быть. И я очень рад

⁶⁰ Толстой Л.Н. Цит. соч., т. 8, с. 172.

⁶¹ Там же, с. 190.

мужику», - итожит он. И хотя на этом тема доходов в соответствии с затратами прервана, она имеет принципиальное значение для хозяйственных реформаторских взглядов Левина. Ведь по этой логике он, применимо к собственному хозяйству, скоро должен будет с неизбежностью проводить грань между усердным работником и бездельным крестьянином. И, возвращаясь к «Утру помещика», это означает делать выбор между Дутловыми, с одной стороны, и Чурисенком, Юхванкой Мудреным и Давыдкой Белым, с другой. А придет время – и встать на сторону одного из двух непримиримых лагерей.

Пока Толстой не развивает далее эту тему. Но именно в ней, - в неизбежно разном отношении к делу, за что - в логике дела – разные работники или хозяева должны получать и разный доход, и коренится вопрос, неразрешимый для толстовской теории хозяйствования на основе всеобщего равенства и любви. У Толстого выходит, что одинаково надо любить и поровну воздавать и усердному, и ленивому.

Впрочем, эта проблема еще впереди. А пока автор романа об Анне вводит нас в святая святых своих сокровенных мыслей об общем помещичье-крестьянском земледельческом труде. И здесь прежде всего важно открывающее третью часть романа знаменательное сравнение взглядов на народ Константина Левина и его брата городского жителя Сергея Ивановича Кознышева. Приведем уместную здесь обширную выдержку.

«Для Константина Левина деревня была место жизни, то есть радостей, страданий, труда; для Сергея Ивановича деревня была, с одной стороны, отдых от труда, с другой - полезное противоядие испорченности, которое он принимал с удовольствием и сознанием его пользы. Для Константина Левина деревня была тем хороша, что она представляла поприще для труда несомненно полезного; для Сергея Ивановича деревня была особенно хороша тем, что там можно и должно ничего не делать. Кроме того, и отношение Сергея Ивановича к народу несколько коробило Константина. Сергей Иванович говорил, что он любит и знает народ, и часто беседовал с

мужиками, что он умел делать хорошо, не притворяясь и не ломаясь, и из каждой такой беседы выводил общие данные в пользу народа и в доказательство, что знал этот народ. Такое отношение к народу не нравилось Константину Левину. Для Константина народ был только главный участник в общем труде, и, несмотря на все уважение и какую-то ровную любовь к мужику, всосанную им, как он сам говорил, вероятно с молоком бабы-кормилицы, он, как участник с ним в общем деле, иногда приходивший в восхищение от силы, кротости, справедливости этих людей, очень часто, когда в общем деле требовались другие качества, приходил в озлобление на народ за его беспечность, неряшливость, пьянство, ложь. Константин Левин, если б у него спросили, любит ли он народ, решительно не знал бы, как на это ответить. Он любил и не любил народ так же, как и вообще людей. Разумеется, как добрый человек, он больше любил, чем не любил людей, а потому и народ. Но любить или не любить народ, как что-то особенное, он не мог, потому что не только жил с народом, не только все его интересы были связаны с народом, но он считал и самого себя частью народа, не видел в себе и народе никаких особенных качеств и недостатков и не мог противопоставлять себя народу. Кроме того, хотя он долго жил в самых близких отношениях к мужикам как хозяин и посредник, а главное, как советчик (мужики верили ему и ходили верст за сорок к нему советоваться), он не имел никакого определенного суждения о народе, и на вопрос, знает ли он народ, был бы в таком же затруднении ответить, как на вопрос, любит ли он народ. Сказать, что он знает народ, было бы для него то же самое, что сказать, что он знает людей. Он постоянно наблюдал и узнавал всякого рода людей и в том числе людей-мужиков, которых он считал хорошими и интересными людьми, беспрестанно замечал в них новые черты, изменял о них прежние суждения и составлял новые. Сергей Иванович напротив. Точно как же, как он любил и хвалил деревенскую жизнь в противоположность той, которой он не любил, точно так же и народ любил он в противоположность тому классу

людей, которого он не любил, и точно так же он знал народ как что-то противоположное вообще людям. В его методическом уме ясно сложились определенные формы народной жизни, выведенные отчасти из самой народной жизни, но преимущественно из противопоставления. Он никогда не изменял своего мнения о народе и сочувственного к нему отношения.

... Константину Левину скучно было сидеть и слушать его, особенно потому, что он знал, что без него возят навоз на неразлешенное поле и навалят бог знает как, если не посмотреть; и резцы в плугах не завинтят, а снимают и потом скажут, что плуги выдумка пустая и то ли дело соха Андреевна, и т. п.»⁶².

Толстовская идея поиска пути единения с народом, присутствующая практически во всех его произведениях (вспомним, хотя бы «Казачьи рассказы» и «Севастопольские рассказы»), впервые масштабно была заявлена в «Войне и мире». Прибывший на Бородинское поле Пьер, не покидающий на протяжении всего сражения батареи и чем только возможно помогавший солдатам, продолжает свой путь к народу через свое сближение в плену с Платоном Каратаевым. Результатом этого сближения оказывается его новый взгляд на мир, выраженный ликующим криком и смехом: «Не пустил меня солдат... Поймали меня, заперли меня. Кого меня? Меня? Меня – мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!»⁶³

Но если в «Войне и мире» единение любимых толстовских героев господ и крестьян, как правило, происходит перед лицом высшей силы в облике смерти, то в «Анне Карениной» единение Левина с мужиками обнаруживает себя перед лицом природы, но не в период ее бездельного созерцания, а в момент трудовой деятельности.

Вообще, несколько отвлекаясь от толстовской проблематики, замечу следующее. Как бы в процессе развития аграрного производства не менялись технологии, включая современные нам высочайшие и сложнейшие способы

⁶² Там же, сс. 263 – 264, 266.

⁶³ Там же, т. ВиМ, т4, часть 2, конец гл. 14.

взаимодействия с развивающимся природным целым, тем не менее, любая форма аграрного труда (в том числе и крестьянский труд), предполагает гармоничное встраивание человеческих усилий в неуклонно развивающийся по своим собственным законам природный цикл. Для Толстого, например, это момент заготовки сена⁶⁴. Трава выросла, и как у роженицы на последних днях беременности, окружающие ее близкие не могут не принять рождающегося ребенка. Вот в такой-то момент Левин и оказывается на лугу вместе с косцами.

Эти, ставшие классическими страницы, тем не менее, до сих пор содержат в себе нераскрытые тайны. Одна из них – блаженные моменты, возникающие вовсе не тогда, когда приходят минуты отдыха и Левин пьет воду с брусницей или с неба льет долгожданный дождик. Это, напротив, минуты действия. Но действия такого, когда наступает **«бессознательное состояние»**, «когда можно было не думать о том, что делаешь. Коса резала сама собой. Это были счастливые минуты.

...Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты **забытья**, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как будто **по волшебству**, **без мысли о ней**, работа правильная и отчетливая делалась **сама собой**. Это были **блаженные** минуты.

Трудно было только тогда, когда надо было прекращать это сделавшееся **бессознательным** движение и думать, когда надо было окашивать кочку...(Выделено мной. – С.Н.)»⁶⁵.

Впрочем, идущий рядом с Левиным старик, даже кочки окашивал не думая. То есть, будучи не только, несомненно, более опытным косцом, он, в то же время был и ближе к тому порогу, когда человека покидает сознание и

⁶⁴ То, что это один из высших пиков природного цикла, воспринимаемый крестьянином именно как радостное событие, имеет и документальное подтверждение в печальных страницах отечественной аграрной истории. Уже после раскулачивания и насильственного утверждения в СССР колхозов, трудовой энтузиазм людей некоторое время все еще сохранялся. По прошествии многих лет, в период перестройки, на вопрос социологов, почему они после коллективизации продолжали работать столь же интенсивно, хотя их вновь сделали крепостными, они (абсолютно алогично с точки зрения рациональности) отвечали: «потому что трава выросла».

⁶⁵ Там же, сс. 279 – 280.

когда, (вспомним рефлексию пережившего близость смерти Пьера), он, человек, перестает быть физическим телом, а делается бессмертной душой. Бессмертная душа не подвластна смерти и потому это то состояние, для которого Толстой и употребляет единственно точное здесь слово «блаженство».

Возвращаясь к неизбежной для хозяйственной практики теме соразмерности затрат (в том числе – физических усилий) и дохода, в центральной теме косьбы Толстой намечает свой, кажущийся ему верным, выход. Как помним, ближе к вечеру, оценив большой масштаб сделанного и верно чувствуя настрой крестьян, Левин предлагает закончить косить луг полностью. Идея приобретает лозунговую форму «Машкин Верх скосить – водка будет». И с новой энергией косцы принимаются за работу вновь.

И дело здесь, конечно, не в банальной пристрастии русского крестьянина к спиртному. Страда в полном разгаре и в работающей деревне до полного завершения всех полевых работ праздников не было. Несомненно, что левинские крестьяне из такой, «правильной» деревни. В чем же дело?

Думаю, оно в ключевом для толстовского мировоззрения слове «бессознательное». Но теперь оно может возникнуть не как характеристика упоительной работы в согласованном природно-человеческом ритме (отдавая созревшую траву, природа как бы отдает человеку рожденного ребенка). Теперь это «бессознательное» - лучший способ во время отдыха вспомнить о только что пережитом, гармоничном и радостном труде, отлично прошедших «родах», здоровом «ребенке», которому радуются отец и мать. Это «бессознательное» - вновь воспроизводимый в памяти радостный момент жизни, который лучше закрепляет пережитое и, одновременно, дает силы для новой жизни, нового труда.

И еще. Как и в поведении солдат на бастионах Севастополя или на Бородинском поле, у Левина, как у необстрелянного молодого офицера в Крыму или у Пьера на батарее просто нет возможности долго сомневаться в собственных силах, рефлексировать «получится – не получится», «смогу – не

смогу». Левин шел за мужиками и «часто думал, что он непременно упадет, поднимаясь с косою на такой крутой бугор, куда и без косы трудно влезть; но он влезал и делал что надо. Он чувствовал, что какая-то внешняя сила двигала им»⁶⁶.

В дальнейшем, основываясь на такого рода примерах хозяйственной жизни, Толстой и формулировал свое основное философское кредо. Согласно ему, если для человека сложно определить, что он должен делать, то существенно проще для него знать, чего он делать не должен. А знать это, то есть не делать, лучше всего не в индивидуальном размышлении, а присоединяясь к коллективному народному бессознательному. Отсюда – назначение человека – самоотречение и подчинение массовой, роевой жизни. И хотя в массе преобладает бессознательное, инстинкт, но это такое бессознательное и такой инстинкт, который прошел проверку веков совместной жизни и потому истинен и непреложен.

В особенности убедительно толстовская философия изложена, как мы старались показать ранее, в эпопее «Война и мир». Но если раньше в центре рассмотрения автора были князь Андрей, Наташа Ростова и Пьер Безухов, то теперь, в связи с темой позитивного дела жизни и образом Константина Левина, нужно еще раз обратиться к еще одной важной фигуре «Войны и мира» - образу Михаила Илларионовича Кутузова, конечно, безотносительно к его непосредственным полководческим делам.

В литературном творчестве вообще и у Толстого, в особенности, образы персонажей манифестируют создаваемую автором мировоззренческую систему. Иногда мировоззренческая система прописывается как, например, в романной прозе Н.Г. Чернышевского, как декларация. Но в этом случае назидательности и нравоучительства – этих состоящих на твердой зарплате могильщиков литературы – не избежать. Особенность же литературного философствования, на мой взгляд, состоит в том, что его продукты - философемы берут начало и прочитываются не столько на рациональном

⁶⁶ Там же, с. 283.

(идейном) уровне, сколько на уровне эмоциональном и даже интуитивном. В этой связи жестко, но точно высказался Владимир Набоков: «...Мы должны обратить внимание не на *идеи*. В конце концов, необходимо иметь ввиду, что *идеи* в литературе не так важны, как образы и магия стиля». Предоставим «идеям карабкаться друг на друга как им угодно. Слово, выражение, образ – вот истинное назначение литературы. Но *не идеи*»⁶⁷.

Кутузов в «Войне и мире» Толстого, на первый взгляд, фигура странная. Он не пользуется популярностью в высшем свете, критикуем двором и императором, в 12-х – 13-х годах его прямо обвиняют за ошибки, в том числе и за сдачу Москвы. Не выдерживает он сравнения и с непререкаемым кумиром русской знати до нападения на Россию - Наполеоном. Но если в изображении Толстого великий француз постоянно озабочен тем, как себя подать, как в каждый момент сделать нечто, что должно войти в историю, то Кутузов – нечто совершенно иное. Он, полководец, явно производит впечатление человека подчиненного. Кажется – абсурд. Но дело – в подчинении чему? Ведь его явно не заботит карьера, мало беспокоит расположение к нему двора и императора. Он даже, как бы забывая, что он – истинный спаситель России, заискивает перед Александром.

Разгадка этого кажущегося парадоксальным изображения Кутузова в том, что по мысли Толстого, он - один из редких, всегда одиноких людей, которые, «*постигая волю Провидения, подчиняют ей свою личную волю*». Это подчинение, являя себя в личном характере полководца, оборачивается покорностью воле событий, отсутствием тщеславия, самоотречением. Кутузов, как помним, признает верховенство лишь двух великих сил Провидения – времени и терпения. И не эти ли черты типичны и обнаруживаются Толстым практически в каждом из его народных характеров – от защитников Севастополя – до последнего слуги дома Каренина или крестьянина из имения Левина. Кутузов – этот Каратаев в мундире генералиссимуса – толстовский идеал и, одновременно, реальное отражение

⁶⁷ Набоков В. Цит. соч., с. 248.

современного ему народа, по крайней мере того, который Толстой хотел видеть и перед образом которого преклонялся, вскапывая огород вдове-крестьянке или лично сооружая для себя уродливые сапоги.

Кутузов, как помним, знаменит и своим «ничегонеделанием», расцениваемым свитой как бездарность или неспособность руководить армией. Он равнодушно, скептически или даже гневно-отрицательно относится ко всякого рода диспозициям, составляемым генералами перед сражением. Угадать, где и в какое время окажется та или иная войсковая часть, не перепутают ли маршрут командиры, успеют ли добраться вовремя части или адъютант с приказом, не собьется ли в заполненной туманом низине пехота, не попадет ли русское пешее воинство под огонь своей же артиллерии или под атаку гусар, - занятие гадательное, а, будучи возведенным в ранг правил войны, и вовсе губительное. Кутузов, как, кстати, и Багратион, знает, что военачальнику *нельзя* управлять людьми, проектировать события и на этой основе рассчитывать на победу. Он, напротив, уверен, что в сражении решающую роль играет дух войска, способность каждого солдата к самоотверженности, пренебрежение опасностью, личная стойкость.

Но как можно пренебрегать видимой опасностью? Толстой приводит один из таких случаев – когда князь Андрей смотрит на вертящееся вблизи него пушечное ядро. Очевидно, что опасностью видимой, без серьезной причины, отвергая собственный принцип «не кланяться ядрам и пулям» на виду у своих солдат, все же пренебрегать нельзя. Другое дело, и это, в частности, обнаруживается на примере косьбы травы Левиным, можно впасть (или достичь) состояния бессознательного (термин Толстого) и в этом самозабвении – самоотречении, забыть, в том числе, и о том, о чем сам Толстой помнил всю жизнь – о страхе смерти и делать то единственное, что должно делать. Не в этом ли и разгадка того, почему так спокойно, как это неоднократно наблюдал Толстой, умирают русские солдаты. Бессознательное следование высшему, с которым, в исполнение его повеления, человек

соприкасается, делает для него это высшее уже отчасти знакомым. И потому переход в это высшее – через смерть – перестает быть страшным. «Душа бессмертна», - сознает Пьер. «Душа бессмертна», - бессознательно ощущает Платон Каратаев. «Душа, частью которой для князя Андрея является честь, бессмертна» - знает Андрей Болконский, равно как и напутствующий его на войну отец. Провидение – это вместилище душ и бессмертия через умирание тела, - прозревает и старый полководец Кутузов.

«Бессознательное» - центральная категория философии Толстого. Восхищаясь бессознательностью Каратаева, он формулирует: *«Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Если он пытается понять его, он поражается бесплодностью»*⁶⁸.

В «Анне Карениной» Толстой продолжает развивать свою категорию бессознательного, роевого, радостного труда. Но, как истинный реалист он не может позволить себе не замечать очевидных и все усиливающихся от года к году, от события к событию нравственных и рациональных несообразностей. Такова, например, история с покосом в сестриной деревне, которую Левин взял в управление. Как помним, заливные луга разбирались для обработки окрестными мужиками по двадцати рублей за десятину. Осмотрев их лично, Левин обнаружил их явную дешевизну, поднял цену до двадцати пяти рублей. Мужики с новой ценой не согласились и, более того, стали отбивать покупателей из других мест. Так продолжалось больше года и кончилось тем, что Левин сдал луга частично наймом, а частично прежним мужикам из доли: две копны – ему, одна - мужикам.

⁶⁸ В ведущей роли в человеческой жизни бессознательного Толстой убеждался и на других примерах. Так, работая над романом о декабристах, он поражался проистекающей из бессознательной веры в бессмертие души несокрушимую энергией и сарказмом, которые демонстрировал на каторге кавалергардский полковник Лунин. В одном из писем к сестре, он, узнав о назначении военным министром графа Киселева, осмеял его. Содержание письма было доложено императору и тот распорядился приковать Лунина к тачке навсегда. Это, впрочем, никак не изменило психологический настрой декабриста. Так, майор, смотритель каторжных работ, немец по происхождению, ежедневно уходил с работ, продолжая по дороге смеяться лунинским шуткам. Соловьев Е. Л.Н. Толстой. В кн.: Державин, Жуковский, Лермонтов, Тургенев, Лев Толстой. Биографические повествования. Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова. Челябинск, Урал LTD, 1998, с. 474.

Уже через год Левиным за луга было получено дохода вдвое больше. Когда же на следующий год вновь пришло время убирать сено, то, вопреки установленному порядку, к Левину явился староста с известием, что покосы убраны без его, левинского, присутствия и уже сметаны в стога. Ему, стало быть, оставалось приехать и принять разделенное без его участия. По неопределенным ответам старосты, сколько было сена на лугу и по поспешности произведенного раздела, Левин понял, что в дележе что-то нечисто.

Приехав на луг, он увидел, что в его стогах, в которых, как уверяют мужики, было по пятидесяти возов, недоставало минимум трети. Проверка показала, что, действительно, в его стогах было не более тридцати двух возов. Староста божился, что сено сперва было «пухлявое», а потом «улеглось». После долгих споров сошлись на том, что стога, в которых было, как уверяли мужики, по пятидесяти возов, отойдут в их пользу, а господскую долю выделяют вновь. И вновь, как и после общего с мужиками покоса, Левин предается восхищенному созерцанию двигающейся с поля толпы весело и дружно поющих мужиков и баб. При этом, «некоторые из тех самых мужиков, которые больше всех с ним спорили за сено, те, которых он обидел, или те, которые хотели обмануть его, эти самые мужики весело кланялись ему и, очевидно, не имели и не могли иметь к нему никакого зла или никакого не только раскаяния, но и воспоминания о том, что они хотели обмануть его. Все это потонуло в море веселого общего труда. Бог дал день, бог дал силы. И день и силы посвящены труду, и в нем самом награда. А для кого труд? Какие будут плоды труда? Эти соображения посторонние и ничтожные.

Левин часто любовался на эту жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этой жизнью, но нынче ...Левину в первый раз ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную

праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь»⁶⁹.

На ночь Левин остается в поле на копне и смотрит в небо. И, подобно князю Андрею, небо открывает ему рубежи его прошлой и будущей жизни. И если в прошлой жизни он не сомневается (надо отречься от бесцельных занятий, от ненужного образования, от бесполезных знаний), то в отношении будущей на ум ему пока не приходит ничего существенного. Впрочем, провидение не оставляет героя, и возвращаясь пешком к себе в деревню на дороге он встречает карету, в окне которой узнает Кити. «Я люблю ее», - говорит себе Левин.

Однако вернемся к хозяйственным заботам как толстовской основе благополучного существования семьи и семейного счастья. В рассмотренной сцене с дележом сена, чуть намеченный реальный хозяйственный конфликт помещика Левина и крестьян по поводу затрат и доходов автором романа до времени отводится в сторону. Но это не значит, что Толстой вовсе отказывается от его рассмотрения. Новыми гранями и в более обобщенной форме конфликт этот всплывет вновь в сцене ночного разговора Левина и Стивы Облонского на сеновале во время охоты. Но прежде Толстой предоставляет Левину высказаться по вопросу промышленного прогресса и земледелия вообще. Происходит это в спокойной обстановке – размышлений Левина-Толстого во время уединенных занятий в деревне за письменным столом. В это время Левин «писал теперь новую главу о причинах невыгодного положения земледелия в России. Он доказывал, что бедность России происходит не только от неправильного распределения поземельной собственности и ложного направления, но что этому содействовали в последнее время ненормально привитая России внешняя цивилизация, в особенности пути сообщения, железные дороги, повлекшие за собою централизацию в городах, развитие роскоши и вследствие того, в ущерб земледелию, развитие фабричной промышленности, кредита и его спутника -

⁶⁹ Толстой Л.Н. Цит. соч., т. 8, сс. 303 – 304.

биржевой игры. Ему казалось, что при нормальном развитии богатства в государстве все эти явления наступают, только когда на земледелие положен уже значительный труд, когда оно стало в правильные, по крайней мере в определенные условия; что богатство страны должно расти равномерно и в особенности так, чтобы другие отрасли богатства не опережали земледелия; что сообразно с известным состоянием земледелия должны быть соответствующие ему и пути сообщения, и что при нашем неправильном пользовании землей железные дороги, вызванные не экономической, но политической необходимостью, были преждевременны и, вместо содействия земледелию, которого ожидали от них, опередив земледелие и вызвав развитие промышленности и кредита, остановили его, и что потому, так же как одностороннее и преждевременное развитие органа в животном помешало бы его общему развитию, так для общего развития богатства в России кредит, пути сообщения, усиление фабричной деятельности, несомненно необходимые в Европе, где они своевременны, у нас только сделали вред, отстранив главный очередной вопрос устройства земледелия»⁷⁰.

Этим главным и очередным вопросом устройства земледелия был и, как показала история, до сих пор в полной мере все еще не разрешенный вопрос о собственнике и хозяине земли, то есть о совпадении фигуры человека, обладающего землей как капиталом и земельным производителем. Должен ли собственник непременно быть производителем? Должен ли производитель непременно быть собственником? Каково в этой оппозиции место земельного арендатора? В решении этих вопросов в России всегда переплетались не только экономические, технологические, правовые, религиозные, философские, исторические, но так же моральные и даже эстетические вопросы. В их рассмотрении всегда была разница не только между отдельными мыслителями, но и целыми философскими школами и направлениями. Не остался в стороне от их рассмотрения и Толстой.

⁷⁰ Там же, т. 9, с. 58.

В знаменитом споре Левина и Облонского на сеновале как в капле воды отразилось метание самого Льва Николаевича между его многолетним стремлением «омужичиться», раздать землю, а одной стороны, и продолжать жизнь созерцателя-мыслителя, что было невозможно без наличия личного значительного состояния.

Впрочем, в его жизни, как известно, бывали периоды, когда он оставлял писательский труд и целиком отдавался делу реальной помощи крестьянству. Но работы по сбору средств на помощь голодающим или устройству для них общественных столовых по мере прекращения бедствия сходили на нет. Равно как и по прошествии нескольких лет сама собой прекратила существование Яснополянская школа для крестьянских детей, поскольку при полуторасотенном населении села все дети, которых можно было обучить, были обучены, а новых не было. Так о чем же спорят Левин и Стива и есть ли между ними сколь-нибудь принципиальное различие?

Стива – откровенный рационально мыслящий сибарит прямо заявляет: живу в свое удовольствие, понимаю в делах меньше моего столоначальника, но вознаграждаем несравненно более него и так должно быть, потому что так устроено. На вопрос Левина, как он может получать удовольствие от общения с людьми, состояние которых наживается нечестным путем (такowymi, как я только цитировал, Левин, в частности, считает преждевременные для России банки и строительство железных дорог), Стива отвечает в том смысле, что любой дворянский труд одного рода, то есть нажит усилиями и умом. Левин пытается ввести разницу между «честным» помещичьим трудом и трудом строителя железных дорог или банкира. Но провести грань между «нечестностью и хитростью» и «прямотушием и честностью», разумеется, ему не удастся. Остается лишь его голое убеждение, что банки – это «нажива без труда».

В пылу спора Стива переводит разговор на личность самого Левина: справедливо ли, что он, Левин, получает за свой труд пять тысяч, а его труженик-мужик, сколь бы ни старался, больше пятидесяти рублей не

получит? Левин вынужден согласиться, что он чувствует, что это несправедливо.

«- Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему свое имение, - сказал Степан Аркадьевич...

- Я не отдаю потому, что никто это от меня не требует, и если бы я хотел, то мне нельзя отдать, - отвечал Левин, - и некому.

- Отдай этому мужику; он не откажется.

- Да, но как же я отдам ему? Поеду с ним и совершу купчую?

- Я не знаю; но если ты убежден, что ты не имеешь права...

- Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдавать, что у меня есть обязанности и к земле и к семье.

- Нет, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так?..

- Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мною и им.

- Нет уж, извини меня; это парадокс», - завершает Стива и возразить Левину-Толстому нечего. «Неужели только отрицательно? – повторял он себе. – Ну и что ж? Я не виноват»⁷¹, - думает Левин, засыпая.

Не разрешив лично для себя и не соотнеся собственную позицию с личной ответственностью, Левин-Толстой, несомненно, сознает это и, надо отдать должное, в собственной оценке себя-Левина беспощаден. Это видно хотя бы на примере нарисованных буквально через несколько глав эпизодах участия Левина в гражданской активности местного дворянства во время выборов губернского предводителя. По тому, как практический человек Левин долгое время не может взять в толк смысла происходящих между дворянами дебатов и нешуточной выборной борьбы, по тому какие ошибки он совершает, становится ясна вся искусственность и бессмысленность этой так называемой гражданской активности. Дошло даже до того, что комиссия,

⁷¹ Там же, с. 172.

назначенная для проверки потраченных сумм, не стала этого делать, считая такое действие оскорблением губернскому предводителю. До исполнения процедур, тем более сколько-нибудь строгих правил здесь не доходит. Да и особого желания у дворян к этому нет. «А черта мне в статье! Я говорю по душе. На то благородные дворяне. Имей доверие», - формулирует преобладающее мнение один из спорщиков. И здесь, как и в случае с примерами крестьянского хозяйствования, Левин оказывается бессилем и понимая происходящее, ограничивается ролью пассивного регистратора событий.

Впечатление это усиливается после откровенного разговора Левина на собрании с помещиком о том, что и он тоже ведет свое хозяйственное дело без прибыли, а то и прямо в убыток. Да для чего же так?, - задается вопросом Левин и сам же отвечает: «...Мы без расчета и живем, точно приставлены мы, как весталки древние, блюсти огонь какой-то.

Помещик усмехнулся под белыми усами.

- Есть из нас тоже, вот хоть бы наш приятель Николай Иваныч или теперь граф Вронский поселился, те хотят промышленность агрономическую вести; но это до сих пор, кроме как капитал убить, ни к чему не ведет.

- Но для чего же мы не делаем как купцы? На лубок не срубаем сад? - возвращаясь к поразившей его мысли, сказал Левин.

- Да вот, как вы сказали, огонь блюсти. А то не дворянское дело. И дворянское дело наше делается не здесь, на выборах, а там, в своем углу. Есть тоже свой сословный инстинкт, что должно или не должно. Вот мужики тоже, посмотрю на них другой раз: как хороший мужик, так хватает земли нанять сколько может. Какая ни будь плохая земля, все пашет. Тоже без расчета. Прямо в убыток.

- Так, так и мы, - сказал Левин»⁷².

Не вписывается Левин и в новомодные в то время общественные учреждения вроде мирового суда. На вопрос Вронского, как это так случилось,

⁷² Там же, сс. 245 – 246.

что Левин в своей местности не мировой судья, следует безапелляционный ответ: « - Оттого, что я считаю, что мировой суд есть дурацкое учреждение, - отвечал мрачно Левин, все время ждавший случая разговориться с Вронским, чтобы загладить свою грубость при первой встрече.

- Я этого не полагаю, напротив, - со спокойным удивлением сказал Вронский.

- Это игрушка, - перебил его Левин. - Мировые судьи нам не нужны. Я в восемь лет не имел ни одного дела. А какое имел, то было решено навыворот. Мировой судья от меня в сорока верстах. Я должен о деле в два рубля, посылать поверенного, который стоит пятнадцать.

И он рассказал, как мужик украл у мельника муку, и когда мельник сказал ему это, то мужик подал иск в клевете. Все это было некстати и глупо, и Левин, в то время как говорил, сам чувствовал это»⁷³.

Напротив, Вронский, приехавший на выборы от того, что ему было скучно в деревне и от того, что он положил себе строго исполнять обязанности помещика и дворянина, все больше оказывается затягиваемым их своеобразной игровой природой. «Он никак не ожидал, чтоб это дело выборов так заняло его, так забрало за живое и чтоб он мог так хорошо делать это дело. Он был совершенно новый человек в кругу дворян, но, очевидно, имел успех и не ошибался, думая, что приобрел уже влияние между дворянами. Влиянию его содействовало: его богатство и знатность; прекрасное помещение в городе, которое уступил ему старый знакомый, Ширков, занимавшийся финансовыми делами и учредивший процветающий банк в Кашине; отличный повар Вронского, привезенный из деревни; дружба с губернатором, который был товарищем, и еще покровительствуемым товарищем, Вронского; а более всего - простые, ровные ко всем отношения, очень скоро заставившие большинство дворян изменить суждение о его мнимой гордости. Он чувствовал сам, что, кроме этого шального господина, женатого на Кити Щербацкой, который а propos de bottes с бешеною злобой

⁷³ Там же, с. 247.

наговорил ему кучу ни к чему нейдущих глупостей, каждый дворянин, с которым он знакомился, делался его сторонником»⁷⁴.

Отчего же глубоко чувствующий крестьянство и крестьянский труд Левин, подлинно живущий радостями и горестями деревенской жизни и без усилий долженствования делающийся настоящим сельским хозяином, оказывается лишним, коль скоро он входит за рамки самой деревенской общины и окунается в нарождающиеся формы дворянских аграрных преобразований? И отчего, с другой стороны, намеренно ставящий себе «головную», слабо соотносящуюся с реальностями цель Вронский, столь органичен в этих вновь учреждаемых формах деревенской дворянской жизни?

Очевидно, два разных мировоззрения стоят за этими фигурами. Одно, толстовское, крестьянско-общинное. И другое, новомодное, личностно-прагматическое, чуждое, согласно Толстому, подлинной жизни русской деревни. Не следует, как представляется, думать, что эта новая линия, если не противостояния, то глубокого различия Левина и Вронского, идет мимо и помимо отношений Вронского и Анны. На самом деле оппозиция Левин – Вронский, подкрепляется оппозицией Кити – Анна. И как Вронский искусственен в своих хозяйственных начинаниях, а Левин органичен и счастлив, не смотря на работу «себе в убыток», так же и Кити счастлива в своем семейном бытии, а Анна движется к неумолимо надвигающемуся концу.

Столь же различны эти пары и в своем восприятии деревенской и городской жизни. Анна, как помним, готова идти на риск и даже публичный скандал, борясь за свое если не прежнее, то, по крайней мере, все же достойное место в свете. Вспомним так же, что главным местом этой схватки у Толстого, как и во многих случаях прежде, вновь оказывается театр – место искусственное, нежизненное, обитель всего ненастоящего, поддельного и злого.

⁷⁴ Там же, с. 251.

Левины же в период своей жизни в городе откровенно скучают и даже мучаются вынужденным бездельем. Кити, например, жизнь в городе не доставляла удовольствия потому, что «муж ее был не тот, каким она любила его и каким он бывал в деревне.

Она любила его спокойный, ласковый и гостеприимный тон в деревне. В городе же он постоянно казался беспокоен и настороже, как будто боясь, чтобы кто-нибудь не обидел его и, главное, ее. Там, в деревне, он, очевидно зная себя на своем месте, никуда не спешил и никогда не бывал не занят. Здесь, в городе, он постоянно торопился, как бы не пропустить чего-то, и делать ему было нечего. И ей было жалко его. Для других, она знала, он не представлялся жалким; напротив, когда Кити в обществе смотрела на него, как иногда смотрят на любимого человека, стараясь видеть его как будто чужого, чтоб определить себе то впечатление, которое он производит на других, она видела, со страхом даже для своей ревности, что он не только не жалок, но очень привлекателен своею порядочностью, несколько старомодною, застенчивою вежливостью с женщинами, своею сильною фигурой и особенным, как ей казалось, выразительным лицом. Но она видела его не извне, а изнутри; она видела, что он здесь не настоящий; иначе она не могла определить себе его состояние. Иногда она в душе упрекала его за то, что он не умеет жить в городе: иногда же сознавалась, что ему действительно трудно было устроить здесь свою жизнь так, чтобы быть ею довольным.

В самом деле, что ему было делать? В карты он не любил играть. В клуб не ездил. С веселыми мужчинами вроде Облонского водиться, она уже знала теперь, что' значило... это значило пить и ехать после питья куда-то. Она без ужаса не могла подумать, куда в таких случаях ездили мужчины. Ездить в свет? Но она знала, что для этого надо находить удовольствие в сближении с женщинами молодыми, и она не могла желать этого. Сидеть дома с нею, с матерью и сестрами? Но, как ни были ей приятны и веселы одни и те же разговоры, - «Алины-Надины», как называл эти разговоры между сестрами старый князь, - она знала, что ему должно быть это скучно. Что же ему

оставалось делать? Продолжать писать свою книгу? Он и попытался это делать и ходил сначала в библиотеку заниматься выписками и справками для своей книги; но, как он говорил ей, чем больше он ничего не делал, тем меньше у него оставалось времени. И, кроме того, он жаловался ей, что слишком много разговаривал здесь о своей книге и что потому все мысли о ней спутались у него и потеряли интерес»⁷⁵.

* * *

Неутомимо изобретает и облекает в стройную систему свои представления об идеальном помещике, столь же идеальной любви и необходимых с его точки зрения семейных отношениях Лев Толстой. Но не менее глубоко, проникновенно и дотошно как в писательском труде, так и в собственной жизни, он исследует бездны вышедшей из-под контроля разума любовной страсти, разрушающей и семью, и помещичье дело. (Вспомним хотя бы во многом автобиографичную повесть «Дьявол»). И, похоже, обе темы пресытят его как человека и литератора в будущем. По крайней мере, его последний роман «Воскресение», заверченный в 1899 году, по многим, на мой взгляд, верным оценкам, не может быть поставлен в один ряд с «Войной и миром» и, тем более, с «Анной Карениной»⁷⁶. Обе темы, плавно перетекающие из текстов в жизнь и обратно, гению, сделавшему их своей собственной судьбой, в конце концов окажутся не по плечу.

Известно суждение И.С. Тургенева о романе «Война и мир»: «Вещь удивительная, но самое слабое в нем именно то, чем восторгается публика:

⁷⁵ Там же, сс. 258 – 259.

⁷⁶ Относительно „Анны Карениной“, Ф.М. Достоевский, например, писал: «Книга эта, – читаем в „Дневнике“ за 1877 год по поводу только что появившегося романа, – прямо приняла в глазах моих размер факта, который бы мог отвечать за нас Европе, того искомого факта, на который мы могли бы указать Европе. Анна Каренина есть совершенство, как художественное произведение, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по идее своей это уже нечто наше, наше *свое*, родное, и именно то самое, что составляет нашу особенность перед европейским миром. Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения, то почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем *своем собственном* слове, – вот вопрос, который рождается сам собою». Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в тридцати томах. Т. 25. Л., «Наука», 1983, с. 199.

историческая сторона и психология»⁷⁷. Психология – внутренний мир героев, как справедливо, на мой взгляд, отмечает и Мережковский, не та область, в которой являет себя гений Льва Толстого.

Что же до практических проектов – реализации в общественной жизни идей опрощения, ненасилия, отношений между полами и прочих установлений, к которым под конец жизни приходил автор «Анны Карениной», то, не затрагивая до времени эти обширные темы, приведу наблюдения младшей дочери писателя Александры Львовны Толстой, переданные Иваном Буниным. Однажды в имении Толстого хозяин и гости «обедали на террасе, было жарко, комары не давали покоя. Они носились в воздухе, пронзительно и нудно жужжа, жалили лицо, руки, ноги. Отец разговаривал с Чертковым⁷⁸, остальные слушали. Настроение было веселое, оживленное, остряли, смеялись. Вдруг отец, взглянув на голову Черткова, быстрым, ловким движением хлопнул его по лысине. От налившегося кровью, раздувшегося комара осталось кровавое пятнышко. Все расхохотались, засмеялся и отец. Но внезапно смех оборвался. Чертков, мрачно сдвинув красивые брови, с укоризной смотрел на отца:

– Что вы наделали? – проговорил он. Что вы наделали, Лев Николаевич! Вы лишили жизни живое существо! Как вам не стыдно?

Отец смутился. Всем стало неловко...»⁷⁹

И еще один бунинский пример, тем более знаменательный, что был заявлен публично и эпатажно. «Был некто Клопский, человек довольно известный в то время среди толстовцев и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Каронина «Учитель жизни». Это был высокий, худой человек в длинных сапогах и в блузе, с узким серым лицом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавший, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными

⁷⁷ Цит. по: Мережковский Д.С., с. 86.

⁷⁸ В.Г. Чертков, многолетний товарищ Л.Н. Толстого, как известно, слыл толстовцем больше Толстого.

⁷⁹ Бунин И.А. Окаянные дни. М., Лисс, Бионт, 1994, сс. 4 – 5.

выходками, словом, всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город». Об одной из своих поездок на поезде Клопский рассказал следующее: «...Ехал я сюда из Харькова. Приходит человек, называемый почему-то кондуктором, и говорит: «Ваш билет». Я его спрашиваю: «А что это значит, какой, собственно билет?» Отвечает: «Но билет, по которому вы едете?» А я ему опять свое: «Позвольте, я не по билету, а по рельсам еду». – «Значит, говорит, у вас билета нету?» – «Конечно, говорю, нету». – «В таком случае мы вас на следующей станции высадим». – «Прекрасно, говорю, это ваше дело, а мое дело ехать». На следующей станции действительно являются: «Пожалуйста выходите». – «Но зачем же, говорю, выходить, мне и тут хорошо». – «Тогда мы вас выведем». – «Выведете? Но я не пойду». – «Тогда вытащим, понесем». – «Что ж, выносите, это ваше дело». И вот меня действительно тащат: несут на руках, на диво всей почтенной публике, два рослых бездельника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать!»⁸⁰

Не думаю, что и сам Лев Николаевич был очень далек от подобных экспериментов, хотя и декларировал за собой исключительно теоретическое поле.

⁸⁰ Там же, с. 5.